

ЮРИЙ
КУБЛАНОВСКИЙ

*С ПОСЛЕДНИМ
СОЛНЦЕМ*

LA PRESSE LIBRE
PARIS

XX век

С ПОСЛЕДНИМ СОЛНЦЕМ



ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

С ПОСЛЕДНИМ
СОЛНЦЕМ

послесловие
ИОСИФА БРОДСКОГО

La Presse Libre
Paris

Titre original en russe:

JURY KUBLANOVSKY. S POSLEDNIM SOLNTSEM.

© Edition de «La Presse Libre»
1983

ISBN 2-904228-07-1

Couverture: A.Rakuzin.

Tous droits réservés pour tous pays.

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite. Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1958 sur la protection des droits d'auteur.

Imprimé en France.

Благодарю «Вестник РХД», «Континент», «Русскую мысль» и другие издания Русского Зарубежья, а также американское издательство «Ардис» — за публикацию некоторых из вошедших в эту книгу стихотворений.

Автор

13.1.83. Париж

Памяти Москвы

* * *

Меж люлькою и гробом спит Москва
Б.

Мне снилось золото Великого Ивана,
цветастые шипы Блаженного корана,
большая скорлупа баженовских лепнин
— все сорок сороков личин!
И отражение в воде берестяное,
лучи из дымных облаков,
Зарядье красное, имбирно-костяное,
вся зелень веток и холмов.

Да разве что изгладится мгновенно?
Да разве позабыть?
Мы будем умирать свободно... постепенно...
И всё любить.

1975

* * *

в о с е н ь

1.

...Но все появляется чаще
младенчик в покоях Бориса.

И осени ржавая чаща
с висюльками барбариса
заглядывает в оконце.

Усекновенное солнце.

*

Из Польши Дмитрий подменный
растлит государеву дочку.
С девической шеи нетленной
сорвет золотую цепочку.

Прими ж страстотерпицы венчик
из бездны порочного круга.
Не крест на груди — а бубенчик,
пока молода и упруга.

Кайлом ледяную могилу
осенние выдолбят вьюги.
Лежи там одна через силу,
скрестив лебединые руки.

*

Мы сами себя и подмяли,
мы сами себя и отпели.
На мягкое жесткое стлали.
Ладони над омутом грели.

Так падай шатром безопорным,
безродное царство Бориса,
где ржавое смешано с черным
и красным кустом барбариса!

2.

Благовестят в ограде.
Обретены нетленны
в Сергиевом Посаде
мощи младой царевны.

Даром вошла на ложе
ухаря Самозванца.
Стала еще пригоже
мертвая, без румянца.

...Сядет душа на ветку,
где, торопя годину,
залил закат равнину,
словно вином салфетку.

Родину ниоткуда,
как не любить до крику?
Вот она — наше чудо
— с тенью скорбей по лику,

с голодом, грабежами,
вбронами над кручей.

С кухонными ножами
маленький царь в падучей.

В северном Риме диком,
где по ночам не спится,
не поминай нас лихом,
Ксения-голубица!

1977

В АБРАМЦЕВЕ

Hélène Grosbois

Ты помнишь неба нежный хрящ
и леса черную корягу?
Я не забыл твой узкий плащ,
твоих волос ржаную тягу!

Как на еще сухой земле,
на теплом ворохе кленовом
сидели мы с тобой во мгле
в осеннем сумраке лиловом.

И опьянял вороний крик
и черный аромат грибницы
тебя, читавшую в тот миг
эдемский стих самоубийцы.

Щедра у памяти казна:
скупой огонь последней спички,
затяжка первая вкусна,
свистки далекой электрички,

открытый тамбур, тусклый свет,
фигуры пассажиров спящих...
Как много вырастает лет
из тех минут животворящих!

1971

ТЕНИ

*Ты, как библейская Эсфирь,
пропахла миррой ароматной.
И, раздумявшись, снегирь
сидит на ветке бородатой.*

...Сбрасываешь шубку торопливо,
варежку, похожую на мышь.
Отчужденна и самолюбива,
вся-то ты сухим огнем горишь.

В доме все запущено, что в хлеве.
Разобьется чашка на краю.
Ты сегодня в молодости, в гневе,
узнаю, родная, узнаю.

Но глаза разжалоблены плачем!
Но заколка съехала к челу!
Погоди, налью, пока горячий,
брошу сахар в золотую мглу.

Наши тени долго колебались,
но пока мы ссоримся сейчас,
вдруг взметнулись и перемешались...

Наши тени выбрали за нас!

1974

ТВОИ ГЛАЗА УЖЕ СЛЕПЫ...

Твои глаза уже слепы,
темны зрачки, подруга!
А за окошком ни тропы
не оставляет вьюга.

Все ярче, жарче, мягче рот,
цепочка шею душит.
А за окошком снег идет
и все пушит и плюшит.

В морозной роскоши кусты.
Сугроб взорвал равнину.
И, дрогнув, замерли персты,
впивавшиеся в спину.

1974

ЛЕСНИК

*Мы сегодня от счастья в слезах,
как апостол, прозревший в Дамаске,
так что радужный воздух в глазах
уподобился детской гримаске.*

1.

В соломенной шторе мерцают полосы,
мерещатся вещи сквозь сумрак и тишь.
И я уже выкурил треть папироски...
А ты, драгоценная, дышишь и спишь.

Ах, я не достоин такого подарка!
Я знаю лицо твое, губы, плечо.
Я знаю, где холодно, знаю, где жарко,
где сразу и холодно и горячо.

Проснись — мы натопим огромную печку,
на наших глазах испаряется чай.
Мороз заковал свою бедную речку,
метель навалила сугроб невзначай.

Вот наша округа с ее околотком,
с холодной скорлупкой, горячим ядром...

Румяный лесник с золотою бородкой
проехал в санях перед нашим окном.

2.

Румяный лесник с золотою бородкой,
к тому же — в фуражке с зеленой бархоткой
проехал...

И сердце забилося сильней.
Куда он направился? Верно, за водкой!
Я б тоже, любимая, выпил с охоткой,
да где ее взять, не имея саней?

Вот если бы было немного поближе...
А впрочем, в груди моей хватит огня:
давай-ка я встану на финские лыжи,
а ты, зарыдав, перекрестишь меня.

По древнему лесу, по веткам в овраге,
затем чтоб запомнить уже на века —
огромный замок на стеклянном сельмаге
и странно блуждающий взгляд лесника.

1974

СКВОЗЬ ВЬЮГУ

о т р ы в к и

Полнолуние и страшный мороз.

А твою приоткрытую шею,
локон вьющийся, маленький нос,
как все это мне жалко до слез,
чужеродным дыханьем согреют.

Как подбитая бьется свеча.
Так и жизнь пролетит сгоряча.
И в гробу отдохнуть не успею.

.
Чу! Сверчок замогильный печной
перестал бушевать сквозь известку.
Сад за окнами в маске мучной.
Шум в ушах уподобился воску.

.
О, еще ты попомнишь, придешь,
распахнутся бесшумные двери.

Вот тогда-то ты только поймешь,
как мне сытно от хлеба на грош,

как любви твоей мертвою верен.

1973

АМУР

Тускло лóснится розовый гипс
толстой ручки и ляжки.
И к ушам — наподобие клипс,
прилепились кудряшки.

Или вечер, пока не сгорел,
нам прислал эту сваху?
Позолоченный лук-самострел
прижимается к паху.

Алый вечер — сгорел, не беда.
Шпингалеты на раме.
И наросты крещенского льда
на космической яме.

В полутьме наблюдает малыш,
улыбаясь по злобе,
словно ты не в постели лежишь,
а в хрустальном подвешенном гробе.

1976

АРХАНГЕЛЬСКОЕ

Плашки листьев вмерзены в лед.
Наклонились плакучие ивы,
и насквозь пронизал небосвод
их отвесные ветви и гривы.

Шел серебряный свет из окон
и мертвящий — с портретов Ротари,
куртизанки ли, впавшие в сон,
или фрейлины в жмурки играли?

Но пугала своей белизной
манекенная грудь у корсажа,
чей атлас отливал голубой
чернотой, как холодная сажа.

И косынок щекочущий газ
обегал обнаженные плечи...
Ничего не осталось у нас,
кроме щиплющей влаги у глаз,
кроме отзвуков собственной речи.

Знать, само провидение, рок
в перекошенных тапках с тесьмой
— привели меня в этот чертог,
чтобы знал, где проститься с тобою.

* * *

Когда на ролике античном
сидит нахолившись снегирь
с крутым крылом, брюшком клубничным,
перетекающим в имбирь,

когда лимонные синицы
клюют в снегу с ветвей нагар,
в тулупах вышитых девицы
похожи чем-то на татар.

Глазницы сужены от страсти,
заместо шляпок — лисий ком.

И бычья кровь Советской Власти
стекает за высотный дом.

1976

ЧАС ПИК

Вот ущелье высотного дома — и в пять,
по сумятице судя, туда и дорога.
На подхвате толпы не умею дышать.
Разрешите отстать на немного!

Меж татарских зубцов
и начищенных римских убранств,
где весь воздух отравлен бензиновой вонью,
этот гордиев узел имперских пространств
не могу разрубить онемевшей ладонью.

Так и буду скакать
на брусчатом торце площадей,
на скрещении бульваров
с деревьями в виде обрубка,
чтобы видели все:
я нахохленный злой воробей
и ни пяди снежку уступать не намерен, голубка!

1976

МАНЕЖ

Поздно. А впрочем, еще пошататься
думаю — мыслями надо собраться,
бедной душе не легко.
С кем-то увидеться, с кем-то расстаться,
благо, что нет никого.

Этой дорожкой в минувшие лета
кляча тащила угрюмого Фета,
приопускавшего зонт,
и, говорят, облевалась карета
у казаковских ротонд.

Ты не поверишь, какой я невежа,
даром, что в желтом квартале Манежа...
Веки прикрою и вмиг —
отрок пылающий, отрок неправый
был под хмельком, под гебистской облавой
шпагоглателем книг!

Юная жажда испепелиться,
сгинуть, исчезнуть, в ничто превратиться
мною владела тогда
и помогала внезапно влюбиться,
охлаодеть без труда.

...Там за решетками — призраки сада.
Как хорошо, что надежна ограда

и балахоны зимы:

в йодистом свете Охотного Ряда
недосягаемы мы.

1976

* * *

О бедность!

Пушкин

О бедность! затвердил я наконец...
С отросшими до шеи волосами,
с подстриженной криво бородой
шатаюсь часто у Москва-реки,
то заберусь на Воробьевы горы
— на место доморощенных присяг,
то в щель воткну пожухшую медяшку
и окажусь глубоко под землей,
где в драповых пальто провинциалы
кочуют с сумками, нагруженными впрок.

А в нишах статуи — угрюмые матросы,
спортсменки в облипающих трико
или крестьяне в бронзовых опорках.

...То заберусь поутру в электричку
и вот качу на завтрак во дворец,
чтоб в тишине за тающей аллеей
себя с Еленой встретить невзначай.

Запястье хрупкое. В воротничок пальто
уткнулась.
— Холодно?

— Не очень.

И я целую в щеку наугад...

А встретимся теперь — как мертвые бормочем.

1976

ОКРАИНА

В.Б.

1.

Этот свет фонарей в молоке
освещает ни много ни мало:
неживые часы на руке,
на снегу воробья налегке,
амбру тлена со свалок.

Во живем — ни туда ни сюда.
Замурованы в общем.
Вынимаем с трудом невода,
а когда и совсем без труда,
— на удачу не ропщем.

Перекресток. Плакат на щите
с бородатыми только.
Даже рады своей нищете!
Даже сладко, что горько!

Сыроватый табак да винцо
в подворотни темнице.
Но подмена — она налицо,
— посмотрите на лица!

Потому и смеемся вот так:
«с потрохами запродан»,
что последний решающий знак
с Неба наземь не подан.

2.

Поверх неопрятной побелки
графленые дегтем дома.
Там прыгают тени как белки,
там падает в венчик горелки
сухих папирос бахрома.

Сквозь комнату движется Лета,
дверь выданным дразнит крючком,
и зеркало, спутник поэта,
стекает продольным сучком.

Так страшно, как будто остался
до смерти какой-нибудь час,
а ты еще не причащался,
для мира еще не погас.

Сегодня пенаты родные,
тепло человеческих гнезд...
А завтра — хвосты ледяные
и черные пропасти звезд.

3.

Сухие метелки — ковыль позапрошлого лета
в кувшине готовом рассыпаться или — похоже на это,
на подоконнике с блеском огня ледяного...

Настольная лампа до половины второго.

Чего ж,

оставайся, живи, отмыкай эти ящики, пробуй
к тусклой бумаге примерить перо, словно гвоздик

ко гробу,

в этой каморке, в которой хотел умереть я
в то доземное допервое тысячелетье!

1976

БАШМАЧОК

I.

Тени прошлого, словно скитальцы,
забредают сюда по ночам.

Я запомнил холеные пальцы,
грешный ливень волос по плечам!

...Подносила к концу сигареты
зажигалку с прищуром зрачка,

осветив на мгновенье предметы,
воды Стикса, течение Леты,
вороненый зажим башмачка.

II.

Скрипит за окнами морозная дорога,
как будто это тоже месть,

а не болтливая январская сорока
мне принесла чужую весть.

Как будто неспроста упали с небосвода
на темное стекло колючие цветы.

И узкий башмачок с улыбочкой юрода,
откинув волосы, застегиваешь ты.

БУМЕРАНГ

Я вернусь к тебе словом, молвой,
теснотой возков на дороге,
залепившей глаза синевой,
теплой пылью, ласкающей ноги.

Эти беженцы — дети земли
и бегут своего окаянства.
Разлилась за полями вдали
темнота мирового пространства.

Обернусь стрекозой, мотыльком,
колоском остроусой пшеницы
и с холодным ночным ветерком
положу тебе в грудь небылицы.

6.4.76

* * *

Прошлое — явь, грядущее — явь,
а настоящее — сон.
А если не так, попробуй поправь,
в прошлом влюблен, в грядущем влюблен,
а теперь уходи, оставь.

В прошлом — блески воды, трава,
в грядущем — залежи звезд.

А вот теперь больна голова,
и страх «качает свои права»,
и на сердце — мертвый нарост.

1976

ПОЛДЕНЬ

1.

Плющ прижался вплотную к окошку.
В нашей комнате сумрак теперь.
Кресло, книги, молочная плошка.
И влетает июльская мошка
в ослепительно яркую дверь.

Одичала клубника у дома,
скрип калитки уводит в лесок,
где любая иголка знакома,
паутины любой волосок...

Всё я вижу колодцы лесные,
всё я слышу еще голоса,
наши кровные, но — молодые,
у которых всё только впервые,
заселившие эти леса.

...Или летнего полдня отвесы
над прудом, отражающим их.
Или — ив серебристые срезы,
как праобраз телесной аскезы
и душевных трудов дорогих.

2.

Усы и белые цветы
давно запущенной клубники.
По тропке в дом бежала ты.
Мы были молоды и дики.

Я помню всё: твоя рука
касалась пуговиц рубашки,
и желтый отблеск молока
плясал поверху широкой чашки.

...И твой распахнутый халат,
и тот вихор короткой стрижки,
и мимолетно-страстный взгляд,
и на столе букет и книжки,
и обстановки дачной чушь,
и зноя летнего доука
— меня переносили в глушь
лесов, кукушек, дорогуш
и заводей Багрова-внука.

Еще лежала на спине,
на разобрав, где явь, где дрема,
а между тем — была вполне
в грядущий хаос мной влекома.

1972

СУХАНОВО

И.П.

1.

Подмосковного лета прищур.
Налетающий свист электрички,
чьи скамейки желты чересчур,
словно желуди или лисички.

Дело за полдень, что за беда —
смуглой шее не надо косынки.
Облаков голубая гряда
да крапивная тина пруда
с нераскрытым тюльпаном кувшинки.

2.

В разъятой памяти подольше поищи
и вдруг найдешь в ее законе:
змееобразные подводные хвощи
и барский дом вверху на склоне.

Когда подобное горящим головням
лучи насквозь дупло пронзили,
ты помнишь — здесь виденье было нам...

А может, мы виденьем были?

* * *

Подумать, сколько было вложено
сердечной силы, скорби впрок!

Погребено и обезбожено,
и не пускаем на порог.

А сколько слов в слезах повторено
и в каждом взгляде и черте!

Все позабыто, проворонено,
осталось неизвестно где.

...А для чего сугробы таяли,
В пшенице сохли васильки,
цепные псы на даче лаяли,
о стекла бились мотыльки?

Тогда среди сияний выпретенных
еще не открывалось нам,
что много званых, мало избранных
и приуроченных к мирам.

И растекаясь вместе с реками,
и забираясь на холмы,
и с солью радужной под веками...
Да разве думали, кумекали,
что всех недолговечней — мы?

МАСТЕР И МАРГАРИТА

т р и п т и х

...смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Л.

I.

Два слабых снопика невидимого света.
Он — занят изучением предмета.
Она — на веки навела сурьму.
В запасе сахар, хлеб, подчас бутылка зелья.

Так жили эти дети подземелья,
совсем забыл — когда и почему.

II.

Он возвратил значение с л о в у.
Ее душа легла в основу
вещей, классических теперь.

Ночного неба воздух сжатый.
Родной земли пустырь богатый...

И в мирной жизни — вкус потерь.

III.

В ее зрачке скользнула рысья риска,
и сердце билось слишком горячо.

Он над своим столом склонился низко,
свел пальцы в горсть, потом размял плечо.

И лишь когда окончилась работа,
когда совсем глаза закрылись те,
свои земные оборвав тенета,
они соединились для полета...

Так пустота летела в пустоте.

1974

ПЕРЕКРЕСТОК

I.

...И мерзкий снежок, и песочная каша.
Отдельный закут для торговли вином.
Так вот она жизнь драгоценная наша
— в заботе о главном и самом родном.
Рабочий в халате. Угрюмые полки.
Скатавшийся драп вперемежку с джерси.
Деревья. Сугробы.

И в стаю, что волки,
ненужные пьяницам сбились такси.

II.

...Третий день метет, метет и тает,
тает и метет.
Черный ветер бреши пробивает
в кронах парка у ворот.
И свистя в садовые решетки,
поскользнулся и упал.
Всё стучат, стучат трамвайные колодки,
вьются искры возле шпал.
Пьяных стычки. Полупьяных стачки.
Но пора, пора.
Заржавел язык дверной собачки...
Где мой дом родной? Ну что за номера!

* * *

Кто пробовал силу и волю
да вдруг надорвался в пути,
за кем через вьюжное поле
нам трудно и страшно идти,
кто в землю холодную ляжет,
отпетый худым вороньем,
тот Господу п р а в д у расскажет
про то, как на свете живем.

1976

ВСТРЕЧА

Б. Михайлову

Когда в мильонной гидре дня
узнаю по биенью сердца
в ответ узнавшего меня
молчальника-единоверца,

ничем ему не покажу,
что рад и верен нашей встрече,
губами только задрожу
да поскорей ссутулю плечи...

Не потому что я боюсь:
вдруг этим что-нибудь нарушу?
А потому что я — вернусь
и обрету родную душу.

Не зря Всевышнего рука
кладет клеймо на нас, убогих:
есть нити, тайные пока,
уже связующие многих.

1976

ПОЭТ

Ан. Найману

Говорит о испуге своем
перед силою постной молитвы.
Прячет в шторах окна окаем
и острит наподобие бритвы.

И хотя уж давно позабыт
гром пальбы над холодной волною
и дает ему друг-московит
хлебосольно трунить над собою,

он — подобно Петру за станком,
обращая на праздных угрозу,
вырезает цветок за цветком
золоченую едкую прозу.

Словно копоть не застит зенит,
не лежат штабеля у обочин,
словно впрямь еще дело решит
эта гвардия слез и пощечин.

То искусно молчит о былом,
то презрительно тянется к нови...
И высок иудейский излом
темной тенью подправленной брови.

1976

* * *

Второй Зачатьевский... Тумана пелена,
родные трещины асфальта.
Там церковь белая видна,
в которой золотая смальта.

Второй Зачатьевский... Лазейка, желобок,
калиточки из пластилина.
Стреляя зонтиком, выходят на порог
Иван Тургенев и Полина.

Значки страховщика на всех особнячках
о чем-то повествуют глухо.
Зеленая вода трепещет на кустах,
и шелковисты комья пуха.

Когда-нибудь, вот так — и я седой, как лунь,
со скрипом бережно возьму тебя под ручку.
Ты скажешь: «Благодать. Проспали весь июнь».
И перепутаешь — приняв Муму за Жучку.

1976

УТРО

В букетик цветного горошка
залез горожанин-комар.
Предутренний холод в окошко
вползает, как радужный шар...

Еще запеленуто тело
и вещи не ожили. Что ж
уже перед зеркалом села
и панцирный гребень берешь?

Кровавишь поджатые губы,
кладешь на глаза изумруд,
и шпильки, зажатые в зубы,
свирепость лицу придают.

Волшбой, самодержица, правишь!
Гнетешь дотлевающим сном.
Все давишь мне на душу, давишь
в сияющем доме пустом.

1972

В МАЕ

И.П.

1.

Две снежинки — залетные поздние гости
засыпают в зеленой траве.

До краев пустотою наполнены горсти.

И спешат облака в синеве.

Что приснится и что тебе снилось намедни
— расскажи заодно.

Разглядим эти вешние вещи бредни —
где там соль, где зерно.

Или, может быть, бодрствовать лучше ночами,
а дремать на заре
и скорей просыпаться с листвою, с грачами,
с тишиной на дворе.

Потому что душа занята разговором
с тем, кому не видна,
кто вслепую ее донимает укором
и слезой прожигает до дна.

2.

Все деревья зеленым подернуты флером
за воздушную ямой окна.
Но не видит душа, занята разговором
с тем, кому не видна.

Для чего терзать ее снова и снова
— непостижно уму.
Все равно с твоих губ отлетевшее слово
возвращается в хаос и тьму.

И навеки уходит от нас молодое,
начинает морщинить висок...
И колечко на правой руке золотое
в золотой возвратится песок.

И опять в темноту — к запредельным просторам
устремится душа не одна,
а с другой — донимавшей вслепую укором,
прожигавшей слезою до дна.

1976

* * *

С.Г.

Для московских ребят заготовлена властью присяга,
да не знает никто — где припрятана эта бумага.
Но не даром в испуге тетради разбухли, тонки,
и ночных папиросок в квартирах снуют колонки.

В глубине этажей

натянулись упругие сети,
потому шепотком окликаем подруг на рассвете,
погорельцами бродим тишком по арбатской золе,
и пустые бутылки, как кегли, гремят на столе.

У московских ребят

прилетевшие с Севера книги
и покрытая патиной соль соловецкой вериги,
а крещеные в тридцать — повесили крестик на грудь.
Так давайте скорей собираться в таинственный путь.

У пяти пристаней

укрепляются прочные снасти,
чтобы в их полотне трепетало упруго ненастье,
чтобы в трюмах столицы, не жалуясь на тесноту,
уносилась душа

по блаженным волнам

в пустоту.

1976

В ДОЖДЬ

на Арбате

I.

Холодный дождь и дождь. И скучно и красиво.
Пыльца Японии в гнилом цветке Москвы.
Цветные зонтики... И ты нетерпеливо
пытаешься раскрыть, а он заел — увы!
Но в подворотне есть оазис серой суши,
и мы туда спешим, как праведники в Рай,
как будто в кимоно пришел по наши души
с косою острою зубастый самурай.

II.

Поди тут разбери — Москва или Осака:
чик, харакири, чик — Арбат... особнячки...
К руке возлюбленной с лиловой смальтой лака
губами припаду и обожгу зрачки.
Стихами тленными не бравшая оброка,
твой белый плащ намок, а зонтик-мотылек
со слипшимся крылом не подлетел высоко
и нас по улицам вприпрыжку не увлек.

III.

Ты столько лет назад увидела такое,
что многим предстоит увидеть наяву:
одетый в серое и бледно-голубое
восток пришел в Москву и победил Москву.

Он ел вареный рис из драгоценной чашки,
пытал разбойника иголками зари
за ширмой шелковой... Теперь не жди поблажки,
на зонтик сломанный напрасно не смотри.

IV.

И все-таки на треть еще свободен глобус.
Тверда Америки броня.
Нас в Шереметьево везет пустой автобус
В высоких креслах без огня.
Давно забытая, промокшая до нитки,
прощай, прощай, прощай!
— когда на таможне распотрошат пожитки
и зонт откроют невзначай.

V.

...И ты очутишься в Париже под каштаном,
обсохнешь, полетишь в роскошный Вашингтон,
где все сенаторы подобны бонвиванам.
А я вернусь домой — в каморку с тараканом
к восточным деспотам в полон.
Там Гэтсби вкрадчивый гуляет в белой байке,
тем леди повела плечом...
А мне — холодный чай с ломтём вчерашней сайки,
грызня начальников и корчи под бичом.

1976

ШАТУРА — 72

I.

Сама преисподняя третьего Рима —
Шатура, горящая неудержимо,
заплывшие в торф караси,
Заволжье и Тверь, словно хворост, трещали,
а мы — как последние римляне, спали
на шкурах медвежьей Руси.

Нам снилась реки ледяная излука,
заоблачных барок кули,
серебряный след реактивного звука,
все марево нашей земли.

...Когда ты на кухню за хлебом бежала,
голодную смертью грозя,
когда на плече со слезами лежала,
я думал, что ближе нельзя.

Но там, где фонтан оmyвает натуру
струями из бронзовых глаз,
моя парижанка забыла Шатуру,
в то лето душившую нас.

II.

Червонной головней дымилась
под стенами Москвы Шатура.
Лесов потрескивала шкура.
Земля в известку превратилась.

...Когда в измайловском квартале
стоял горячий смог клубами,
мы пересохшими губами
несбывшееся предсказали.

Ведь вглядываться в то — что будет,
нам и тогда мешали слезы.
Так зной земную влагу нудит
собраться в голубые грозы.

Какими тайными судьбами
была заброшена однажды
сюда, где торф горел пластами
и дохли караси от жажды?

Так пусть шатурская Помпея
объятий наших оттиск прячет
в золе, подобием трофея,
как будто это что-то значит.

1976

ОКТАБРЬ — 74

Там, где ветер, уповая
на свободу, прав лишен,
красным грохотом трамвая
перекресток оглушен,
там — где пьяница улечься
захотел среди воды,
я прошу тебя беречься,
заметать свои следы.

Говорят, в Москве убийца
бьет стилетом женщин в грудь.
И уборщица и львица
одинаково боится
поздно вечером шагнуть...
Жертвы он в листе хоронит,
тащит в черный водоем.
Кто же он? Куда нас гонит?
Что так жалобно поем?

Как душисты струи смрада
среди дубов в саду, когда
тлеют кучи листопада,
на пруду цветет вода
и по воздуху белёсу
проплывает черный сук...
Дай, прохожий, папиросу,
подожги мне спичку, друг!

ЭЛЕГИЯ

Мерещится, я не один брожу
по этим сумеркам — с тобою.
То что-нибудь тебе скажу,
то утаю, солгу, сокрою.
Столь ясно помнятся и стать твоя, и прить,
любая ипостась и складка,
что лгать не совестно и правду говорить
тебе, единственная, сладко.
Кривую улицу, покрытый снегом храм,
где воронье обсело крышу,
я не один, а пополам
с тобою чувствую и вижу.
И что мне до того, что там где ты — июль,
а тут воротники да шубы?
Запью ли горькую, умру ли, оживу ль, —
всё так же радуют глаза твои и губы.
Всё так же радуют... Но нет, еще сильнее,
зане не гаснут, не твердеют.
И волосы твои еще рыжей
на полотне подушки тлеют.
Чего ж... Благодарю, что ласкова с чужим,
ты лучшие часы крадешь для нас, воровка.
Да мне и так легко! Да я смеюсь над ним!
И не скучна моя зимовка.

1976

НА ДОНСКОМ

Солнечные сумерки. Крик ворон буравящий.
Ветер, хриплый плакальщик на кладбище Донском.
Тут погост дворянский, купеческое капище,
Патриарха нашего последний теплый дом
летом ли — трепещущей листвою обнимающим,
иль весной — с алмазами прогалин задарма,
или пышной осенью — кленов догорающих
вороха высокие...

А теперь зима.

Призрачен за прутьями бюст вельможи важного,
и снежок печально залетает в брешь.
У моей возлюбленной отблеск глаза влажного,
оторочен инеем ветошный бекеш.

Заставляют ежиться крыльца церкви темные.
Только два Архангела,
у белого креста
сжав ладони лодочкой, коленопреклоненные —

верные свидетели того, что Вись чиста.

1977

* * *

В залепленном окне серебряно-седое,
потом багряное и, наконец, ночное.
Я чувствую, что стар, что на лице моем
оцет минувшего. Я прижимаюсь лбом
к стеклу холодному. Прошла минута страха.
В морозной тишине кормушку долбит птаха.

...Склоняясь над тобой, я чуть не позабыл
того, кто до меня тебя со мной делил,
и не забрал во тьму, как пленников в обозах:
островский кашемир в кустодиевских розах
и крупных огурцах любимого платка
вкруг юного лица, когда спешишь с катка,

да ветку снежную, да камень голубиный
от дней — когда тебя не трогал ни единый.

1978

ВАРИАЦИЯ

на закате

У павлиньих мороженных окон
в белых джунглях листвы и волокон
на имбирных квадратах стены
наши лица темны.

Наши лица темны — и не надо
отчужденного жалкого взгляда,
потайного пожатья руки,
бормотанья строки.

Нас с тобою двоих маловато,
говори, с кем шепталась когда-то,
ненапрасно мечтала о ком...

Я впущу его в дом.

Вечеринки десятого класса,
летних листьев шуршащая масса,
Подмосковья поджарый король
и от плача затихшая боль.

Через годы — волнующий голос,
распушённый гребенкою волос,
черной кофточки низкий овал
и ресничной гуаши пенал.

...Я люблю тебя — жаркое слово!
Ты, его повторившая снова,
приближая к окошку ладонь,
раздуваешь в морозе огонь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

...На шипастые кроны уселись грачи.
Боровицкий кирпич голубеет в ночи.
Перекрестки-сычи.

Тишину заушающий скрежет и свист,
свежевымытой станции гипсовый лист,
жухлый мрамор скалист.

Задремал пассажир, точно хочет сказать:
«Скоро горе ты ложками будешь черпать,
в страхе руки сжимать».

Потаенная воля! Чужая судьба!
Пустотелых вагонов гремят короба.
Чу, гремят короба.

Полно, братец, шутить.
Поднимаю лицо.
С радиальной маньяком бегу на кольцо.
Мне-то что, я сегодня опять в барыше —
полчаса, и считай, что я дома уже.

12.3.77

СИЗАРЬ

Сизарь из железной помойной дыры,
отъевшись, рванулся в иные миры,
иные пенаты, чужие края...
Но где, серокрылый, олива твоя?

Чужой голубятни качается жердь,
скользит хохолок о вселенскую твердь.
Твой клюв безоружен, московский сизарь,
и склеила перья червонная гарь.

Внизу распластался Берлин-нувориш
и нежным пометом покрытый Париж...
Да кот мокроусый на месте твоём
лениво глядит на небес окаем.

1977

В МАРТЕ 1965 ГОДА...

Еще стволы морозцем лачило
в лжебелокаменнодвуликой,
а уж капель грачей дурачила
и отливала голубикой.
По площадям блестели отмели,
еще не кончились занятия.
Еще дельцы сердца не отняли
у храмин и хором Зарядья.

Лишь за зубцами в дымке рисовой
подложно золотились главы.
И в отруби Никите лысому
не смели подмешать отравы.

...А под Москвой за речкой снежною
и пыжиковым перелеском
покрылись щеки краской нежною,
глаза горели карьим блеском.
Ты не была еще единственной,
но начинало так казаться.
Пустот души твоей таинственной
еще никто не смел касаться.

1978

* * *

по магазинам рысь ю...

*Запомни: покойницей блеск в магазине,
заржавленный жертвенный крюк,
где к белой головке идут, как к святыне,
и апофеозом лежит на витрине
последний замшелый продукт.*

...Шампанское в наклейках темных
для встреч роскошных и укромных,
знакомый с детства шоколад,
где Пушкин няне, словно брату,
читает вслух «Гаврилиаду»,
задрапированный в халат.
Или «арабика» душистый
под пленкой пены золотистой,
в сердца вселяющий экстаз,
когда в углу дракон пятнистый
с фарфора скалится на нас.

Да что!

Балтийская селедка,
доступная с морозца водка,
— продолжим перечень потерь:

мослы,
копчености
и чресла

мы помним ВСЁ.

Зачем исчезло?

Куда теперь?

1978

* * *

13 декабря, утром...

Розоватого блеска немало в Москве поутру.
Я в холодную руку холодную руку беру.
Как морозная крошка горит на холодной щеке!
После ночи блаженной — тела налегке.

Где снежок залетает за пряничные купола,
не жалейте валюту — Россия такой и была.
Где лубянский застенок глядит «Метрополю» в торец,
превращается в бабу напротив Большого — купец.

На морозе машин происходит бесшумно распад.
Легкоплавкие окна по темным фасадам скользят.

Нет, напрасно рука твоя так холодеет в моей.
Зря зрочки увлажнились и сделались вдвое светлей.
Я же вижу, ты хочешь, а главное, можешь спастись,
отрываясь душой —
по стезе воскрешения — ввысь.

1977

ПОРТРЕТ

Чертов ладан, табак везде.
Аида глаз, что птенец в гнезде,
глядит сквозь стены в нездешний край.
Постыл Москвы караван-сарай.

Горбинка профиля. Ветхий овн
моей России единокровн.
Недаром горла стянул аркан.
Полна бутылка, да пуст стакан.

(Кто знал, что в Стрешневе есть Сион?
Но тароватый центурион
из легиона румяных харь
блюдет с порога питейный ларь.)

В мозгу пропеллер гудит давно.
Ужо на кухне рвануть окно
и махом — с пятого этажа.
Какая виза?

Лети, душа!

1977

НА ЗАКАТЕ...

Г.О.

Наша рана будет долго жить,
осень вянуть, и метель кружить.

Все трудней встречаться стало нам,
прятать сердце по чужим углам.

...Точно издыхающий дракон,
дерево чернеет. Воронье

налетает и со всех сторон
(как любил я слабое... твое...)

— плоть его терзает и клюет.

И напрасно в ветви небосклон
заливает темно-карий йод!

16.2.78

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМА К V.

...В веренице сладких и гиблых лет
я любил тебя и, конечно, нет.
Но под тридцать стало тереть ярмо.
Но нельзя — начнет разбухать письмо.
(Наконец появилась возможность... вот...
познакомился с миссис... она найдет
способ... через посольство... чу.
Напишу сегодня, чего хочу.)

.

Знаешь, я все тот же, а жизнь идет.
С летней пылью смешан в морщинах пот.
Золотодеревщиком в Переславль
приезжаю, жалуясь, как журавль.
В роще горки яблок лежат с утра.
Древоточец пользует бот Петра.
А ноябрь кладет на лицо батист.
Птица-тройка! Каждый рысак когтист.

.

Знаешь, я все тот же, а жизнь идет.
Ты не та, кто слово назад берет.
Все же я держу на запоре дверь.
А оно не сердится, верь — не верь.
Так и ты — прочтешь и когда-нибудь
положи за платье себе на грудь,
где альпийский ландыш зашит меж двух
голубых сердечек, дышавших вслух.

ДИПТИХ

И.

I.

Схизма нашей любви и нежна и сурова:
изумрудный огонь
с каждой новой зимой обжигающий снова
и глаза и ладонь.

Как на чайную зелень похожи метели!
Чуден скрип мостовых.

И прогулки по черному саду в апреле,
и ночлег у чужих.

Так идет круговерть високосного года:
счастье, бедность, печаль...

Где в гранитных метро преизбыток народа,
москвиты не видят следов недорода,
никого им не жаль.

10.2.78

II.

...Где призывно зовут, поднимаясь в дорогу,
журавли-вожаки,
где партийцы воруют у всех понемногу
— мы с тобой чужаки.

Кто-то нас туда вызвал и властно направил
твою руку в мою.

Схизму нашей любви октябрь окровавил
в зазерном краю.

Не сказал бы тебе я ответного слова,
да сама помогла
— а не жалобный вопль журавлиного зова.
Нет смелее души, обретаемой с н о в а.
И крестильня светла.

12.2.78

СТРЕШНЕВО — 69

Искандеру

Наша вина — в судьбе.
Наши года — в гульбе.
Наша беда — в ерше.
Наши стихи — в душе.

Черен гудящий лес
и холодно пиво.
Кружится русский бес
где-то недалеко.

Только начнешь: «Ети...»,
чувствуя слабость ног,
глядь, а уже в пути
квохчущий воронок.

То ли берут в кольцо,
то ли отлов калек...
Как освежил лицо
красный вонючий снег!

1979

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

К и е в с к а я д о р о г а

...В тряском тамбуре вонь папирос.
Мочевина оконного света,
словно лед из Бутырок naros,
а вагон — вороная карета,

но не для переделкинских клух.
Хорошо вам не знать недосыпа,
хитрый Межиров, глупый Евтух,
Вознесенский, валютная липа!

Не великие тени беречь
вам дано за павлиньей террасой,
а коверкать родимую речь
полуправды хвастливой гримасой.

Хороши бы вы были с лица,
словоблуды, лгуны и засони,
если б вас пригласили с крыльца
прокатиться в телячьем вагоне!

1978

БЛАГОВЕСТ

Из лебяжьего камня Успенский собор,
италийская песня — татарам в укор.

Колокольня Ивана дуплом на реку,
где, у красных просвирен учась языку,

за гербовую шторой посол англичан
слепнет, видя ее золоченый кочан.

...Далеко-далеко по духовным волнам
растекаться б заутренним колоколам

над запаянной битумом тенью жилищ,
уходя за кирпичные трубы Мытищ,

к многоярусным храмам с посадом впрытык,
где ленивые голуби мира,
как зловещие тени кремлевских владык
в теремах сергианского клира.

1979

* * *

Где тополиный пух кочует
поверх надгробных плит,
с июня по сентябрь ночует
приезжий инвалид.

Кто кинет алчущему грошик,
кто сушку с леденцом...
Запей, брат, пригорошню крошек
реутовским винцом!

Калека видит после кира
нездешние края...
Как хорошо, что не от мира
сего и я!

...Уже шиповник в полной силе,
упругий, не пожух.
Он только гуще — на могиле
с крестом одним на двух.

И только наши судьбы розно
всегда в огне.
Всё только потому что — поздно
твоя досталась мне.

1979

НИКОЛАЙ

На последней самой утлой лодочке
Мы с тобой качаемся вдвоем.

Г.И.

1.

Упруг бутон топленой кожи
качающегося цветка.
Жасмин с шиповником похожи
между собой издалика.
И выгнув тигровые шкурки,
в них всасываются шмели,
как в белизну Софии — турки,
кальянщики и куркули.

Но с пригородного перрона
уже торопится народ.
Вверху вмурована икона
в побелку свежую ворот.
И начеку сидит под веткой
великовозрастный бугай,
юрод в болонье и беретке —
волоколамский Николай.

2.

За день — горка серебра да меди.
Просит сосчитать.
(Сквозь листву червонец солнца светит.)
— Коля, целых пять!

И в углу его улыбки детской
детская слюна —
это смотрит на стакан стрелецкой
Коля вполпьяна.

За окном шиповник в полной силе.
И гранитный крест
протоиереевой могилы
в ряби, как насест.

Все цветет в гербарии погоста,
что ни есть:
маргаритки высыпали просто,
ноготки, оранжевые остро,
воск, бумага, жесь.

Даже у зари июньской ночи
победней казна.
...Что-то солью древоточец точит
зенки — вместо сна.

3.

Небо исполосовано инеем, гулом.
Навернулась роса на листья...
Задубели небритые скулы.
И стаканы пусты.

Захмелели — он мне говорит, улыбаясь.
Матерщинки ни-ни.
Дверь в сторожку скрипит, на ветру открываясь.
Я и сам искони

только что не прошу у прохожих медяшек.
Сторожа этот храм,
по ночам выпускаю голодных дворняжек,
двор мету по утрам.

И когда забываю беретку, от пыли
вместо прядей — колтун.
И меня вызывали, со мной говорили,
угрожали, что пьянь и болтун.

Велико ль пред тобою мое превосходство,
Коля, сам посуди?
С каждым годом все проще, все слаще юродство,
ослепительней Слово в груди.

9.6.79

* * *

Розовое пламя иван-чая
под летящим тополиным пухом.
За стаканами июнь встречаем.
Ветер слушаем вполуха.
По углам навален всякий хламец.
От заката на лице дорожки.
Смотрит Николай-волоколамец
за оконце приходской сторожки.

Но нейдет бровастый наш правитель,
как Иван к Василию блажному
или в белозерскую обитель,
каяться — что режет по живому,
а напротив, улетает в Ялту,
обжимать тиранов братских сало,
видя мир — как контурную карту,
заливаемую краской алой.

...Дар юродства, хоронимый втуне,
сердце истинное гложет.
Даже водка зелена в июне.
За второй пора бежать, похоже.
Ибо у кого взыскуешь, Коля?
За глаза анафемствовать мало.
Незавидная у всех нас доля.
Кажется, что все пропало.

22.6.79

* * *

...С ночей, где комары и гниды
жадны до сонных жил,
когда ночуют инвалиды
среди глухих могил
и кленов старого погоста,
чья участь решена,
и соловьи щебечут просто,
как будто ждут пшена,

— и до холмов правобережных,
когда внезапный страх
с черемух горько-белоснежных
срывает птах,
где тайный звон в Новодевичьем
и тишина в Донском,
где зелено в темно-кирпичном,
зеркально в золотом,

преследуемо и гонимо,
для близоруких глаз
божественно неуследимо

все наше — в нас.

1.6.79

* * *

I.

Черный лебедь сухо шуршит крылом,
окунает клюв в патриарший ил.
Мне сегодня страшно — и поделом.
Не скажу, чтоб сильно тебя любил,
но чего-то медлится на скамье.
В десяти минутах ходьбы — Арбат,
где когда-то пили пиво в фойе
до начала сеанса сестра и брат.
А чего смотрели? По чьей вине?
Не припомню, да и тогда не знал.
Никого вокруг. Лишь откуда не-
известно взявшийся генерал
бычьё шею мнет пятерней — озяб,
и идет в ворота к себе домой,
представляя, верно, что там генштаб,
где дурные сводки лежат горой.

.....

...Никогда уже в пестроватый ворс
твоего жакета не ткнуться лбом.
На заросший ровной травой откос
вышел лебедь, черным шурша крылом.

14.8.79

II.

...Я один пройду меж кусковских пихт
на голландский пруд сквозь сырой туман.
Будет мне о чем расспросить у них
в октябре, топыря вином карман.
Вновь увижу рамы барочной крем
и графини с круглым брюшком халат...
Я сжимал здесь руку Елены М.
лет пятнадцать с лишком тому назад
в год, когда почти пустовал престол,
толковали что-то про новый нэп,
хоть и было видно: король-то гол.
Нет в земле родимой надежных скреп.
Вот и вспомнил — челку, тугой платок
и холщевый крепкий ремень сумы...
Но когда студенческий наш урок
оборвался, редко встречались мы.
А когда и встретимся — что с того?
Посудачим, не возвращаясь вспять.
Но ведь было что-то у моего
сердца? Кто теперь может знать...

Потому и суетки похорон
я не видел и не спешу туда,
где в высоких терниях грай ворон
над всего однажды сказавшей «да».

13.8.79

СТАРЫЙ СКАТЕРТНЫЙ

Вл. Кормеру

Если за окном — старый Скатертный,
не пора ли, брат, грош на грош?
Завсегда в язык вправлен матерный,
среди бела дня если пьешь,
и воняет севрюжьем варевом
в десяти шагах ЦДЛ.
Вот бы там старика Катаева
на оптический взять прицел!
...затаившись в посольском скверике,
в линзу чистую вперив глаз.
(Есть еще один — да в Америке
с младшим Кеннеди хлещет квас.)

Старый Скатертный жить останется
с мертвым голубем в колее
(едешь, знаешь — всегда достанется)
с кровью сплющенной на крыле.

А еще вчера — шип в шиповнике,
из мизинца соленый яд.
Маросейка, Фили, Хамовники,
городской голова Арбат.
Нищестанствовать бы с охоткою,
тайно веруя в благодать.
А когда над родной слободкою
станет розово дотлевать,

перемигиваться бы с козами,
слыша благовест сквозь бурьян...

Разве можно такими дозами?
Быть тому — наливай стакан!

29.7.79

ФИЛИ

Где-нибудь тут в Филях,
где и барокко проще,
и зелено в ветвях
улицы, словно в роще,
на костяной убор
ярусов и портала
зарясь, как будто вор
тощий на брусья сала,
вспомнил твоих сабо
стук и обрывок речи
в миг — как вошла любовь
в оторопь нашей встречи.

Ночи темна заря
без золотых проплешин.
К воздуху комарья,
мучая, писк подмешан.
Знаешь, как твой акцент
близок сердечной язве.
Сколько нам в тот момент
было? По двадцать разве...
Каменный виноград,
посланный Иисусом
в первопрестольный град,
славен соленым вкусом.

30.6.79

* * *

Каждый год сложнее с зимовками,
солоней в мороз дышать,
тяжелей ногам с подковками
за башку дела решать.

Каждый год труднее каяться,
ночевать в чужом углу,
по утрам в толкучке лаяться,
с папирос трясти золу,

пробегать туннелем мраморным
под кремлевские часы,
ждать в газетах жирной траурной
над бровастым полосы.

...То ли дело лето с дачами,
воркотней дождя о жечь!
За любовью, за поддачами
забываешь, кто ты есть.

И косишь в метро на спутницу,
доставая пяточок,
— как на белую капустницу,
залетевшую в сачок.

1980

* * *

Жизнь такая — на птичьих правах.
Как низко по ночам в головах,
как повадки с утра вороваты.
И уже подсказали: пора
выметаться с родного двора
от сумы да тюрьмы да палаты.

Так — не мешкая надо найти
к тайникам покороче пути,
пломбированным гербовым варом,
и покрепче в мозгу застолбить...
А уж там это все уступить
засыпающей шлюшке задаром.

23.11.80

В АПРЕЛЕ

*Поднял крыло ли, плавник
ангел на парусе свода.
Крепок апрельский ледник
восьмидесятого года.*

1.

Этот довесок зимы:
снег в середине апреля,
призрак пятнистый тюрьмы
вместо стакана с похмелья
и черноклювый галдеж.

Ежишься и унимаешь
рук рябоватую дрожь,
— черт побери, понимаешь,
— ветхий крепя ремешок
тусклых часов на запястье
и залезая в мешок
демисезонного счастья.

Город багров от цитат.
Жалобны почки бульвара.
И подпирает Арбат
с тылу сивушная тара.

Жизнь мою, что впереди,
на перекрученной нити
с теплым крестом на груди,
хочется — нате, берите.

2.

Ты — а чуть дальше — апрель,
больше на полюс похожий:
то закружится метель,
то на ледок толстокожий
сядет до времени грач,
поторопившись маленько.
Даром, что я бородач,
а все равно холодненько.

Серые складки легки
американского платья.
Цепкую нежность руки
снова мечтал бы узнать я.

Но почему-то, мой друг,
за темнотой занавесок
все мне мерещится вдруг
аэродромный подлесок,
где у последней черты
прыгает боинг на кочках.
Скоро уедешь и ты
в сером с сережками в мочках.

Жизнь мою, что впереди,
на перекрученной нити
с теплым крестом на груди,
хочется — нате, берите.

1981

* * *

Комарика в мае
прихватит за жало мороз
и весело спросит:
куда ты спешишь, кровосос?
На яблоню ловко
набросит стеклянную сеть
и станет зазывно
в обильных соцветьях звенеть.

Покойника в храме
оставила на ночь родня.
А рядом в хибаре
сегодня за сторожа я.
В ночи под крестами
нам было б не страшно одним,
но сердце местами
неволью меняется с ним.

1981

В АПРЕЛЕВКЕ

С.А.Юдину

Луна-наводчица в разрыве крупных туч.
И пушкою трубы ощерился заводец...
Но, чаю, небеса не обронили ключ
в ее обугленный колодец.
Года разменяны, куда ни поверни,
в убогих гетто без прихода.
Когда над битумом сигнальные огни
какого-нибудь самолета
проходят с грохотом, то хочется в связи
с тем, что не стоит расставаться,
чего-то выкрикнуть, схватиться за шасси,
и в брюхо черное всосаться.
Но как там кулаком угрюмо ни маши,
не переменит курс хозяин.
И просыпаешься — снимая барыши
с кошачьих ярмарок окраин.
...На горстку сродников, что зябкая ползет
с зазывною трубой и медною тарелкой,
глядишь и думаешь — а если повезет
и смерть окажется постелью с теплой грелкой?

1981

СУМЕРКИ — 1980

Серафим-шестикрыл, подрумянены перья,
над заснеженной темной землей.
Сладко сердце сжимается от суеверья,
мы уже не вольны над собой.

В предуказанный час... на условные явки...
пробираемся... душно губам.
Над филевским подлеском покровская главка
подновленно мерещится нам.

Говорят, что по гребни ее костяные
олимпиец с концертным мешком,
разминаясь, придет — времена ведь такие.
Так что лучше бочком да тишком.

...Прободавшая было железную стену,
полугостья невиданных стран
завороженно шепчешь про нежную Вену,
про овечий табун-океан.

Но не надо про то, как тебя обнимали,
не заметив, что ты не жилец
среди них... про блазнящие роскошью дали...
Я люблю их как первый скворец.

У пивного киоска толкуются пьянчуги.
Нам и тут хорошо: не спеша,
под терновый венец — из телесной лачуги
бесприданно выходит душа.

В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ

И.Ю.

1.

Медовым морозцем любимой роток обметало.
От лисьей папахи еще золотистее стало.

Соцветья сосновые, инея тонкие стружки
и белые тучки, подобные выстрелам пушки.

Лыжня увлажнилась в преддверии блестящего марта,
поди, погорелый проехал возок Бонапарта,

таща восвояси его горбоносую тушу.
И снег засыпает его корсиканскую душу.

2.

В тулупчиках старых с руном вологодским бараньим
в лесах подмосковных мы лихо с тобой партизаним:

вспугнем ли сороку, что тощие лисы наседку...
просыплет снежок ли, схватясь за сосновую ветку...

Пред Богом мороз завсегда за Россию предстатель,
когда подступает к ее деревьям неприятель.

Рассол огуречный бочонками хлещут при этом.
И каторжный Федька палит во француза дуплетом.

1979

УТРОМ, ВЕЧЕРОМ, НОЧЬЮ...

I.

От хвойных игл с золотой пылью
глаза устали.
Как изменилось твое лицо,
пока мы спали!
Как будто ты разучилась жить,
сроднясь со снами.
И вот не знаешь о чем просить
Того, Кто с нами.

II.

Лесной игольчатый окаем
под лепкой снега.
Под поцелуем моим — твое
трепещет веко,
еще прощаясь с последним сном.
...Как было ярко
от малым машущего крылом
свечи огарка!

III.

...И снится в инее блеском храм,
верней, руина,
чьи бреши смертно открыты нам.
Горька, что хина,
слеза, бежавшая по щеке
сегодня ночью

и прикипающая к строке
уже воочью.

IV.

Покрылось инеем, как плющом,
окно берлоги.
Я твердо верую, что еще
в земном прилоге,
когда падем за свои грехи,
то станем зрячей
на Божьи праздники и
стихи —
предтечи плачей.

25.1.79

Путешествие

АПРЕЛЬ — 79

Евг. Попову

Пространства России весною похожи на свалку
на тлеющем ворсе холмов бархатисто-облезлых.
Грачи с вороньем, сатанея, ведут перепалку.
И мертвые твари лежат у полотен железных,

как будто закланные ветхим суровым законом
за русскую зиму — к седмице Страстной,
но бесстрастной:
ни ночью, ни утром не слышно пасхального звона.
Лишь ветер ворует окурок у девицы красной,

в чьей зябкой головке недавнее грехопаденье
едва заживляет надежда на встречу кого-то,
кто б, кроме достатка, и нежность имел и терпенье.
Апрельского леса еще холодна позолота.

...И мнится, что осенью снова просить у Канады
удачливой хлеб — за колымский червонец, вестимо,
раз мерзлой земле и теперь не хватает лопаты,
— Приходится ломом, — пенял на погосте детина.

Крупица любви прободала болящую душу.
И в горле першит от Отечества сладкого дыма...
Схватить бы за горло партийца ротшильда чинушу
и спрятаться в поезд — идущий до нежного Крыма!

1979

II.

У Китса на чердаке
треуголка ветхая на крюке
и золова арфа в густой паутине.

...А у нас давно плывет по реке
гора старья на пречистой льдине.

Наступила оттепель, наконец.
Мальцы по площади плот гоняют.
Зачем ты жил на земле, певец?
Здесь о тебе ничего не знают.

Продмаг, знакомая полумгла,
на темной полке блестит сивуха.
Но отравила, не помогла —
в сетчатке влажно, а в горле сухо.

По склону с горки ползет погост.
Над ним бескrestный зубец руины.
Земля дана человеку в рост:
за ширью Родины — даль чужбины.

...Там у Китса варится крепкий грог.
В знак его участия и приязни
голубенек вереск и колок дрок
на переплетеньях Оки и Клязьмы.

1977

В МАЕ

Цвета ракушки склоны лесные
над Пахрою с вихром ветерка.
Наплывают одни на другие
растревоженные облака.

Стало тесно им на небе, видно,
раз к плащам прилипают листы,
раз пахучую почку бесстыдно
разминаешь меж пальцами ты.

...В полуплаче твоём, в полуречи
вся душа твоя как во плоти.
И под майским дождем к полувстрече
наши губы на полупути.

Раскрываясь, черемуха знает
— отчего ее купы горчат.
И кукушка тебе обещает
календарь, что еще не почат.

1978

ВЕНЧАНИЕ

В то лето давнее
над цвелью тины
всё православнее
штырек руины.

В луче воронкою
у аналя,
придя сторонкою,
приметны двое.

Он — из-за парты
мужской гимназии
с рулоном карты
рязанской азии.

Она же — лепкой
отлична страсти
с косою крепкой
медовой масти.

Из хороводистых,
видать, гневливых.
Весть для породистых
сорок болтливых.

Телесны всполохи
огней и тени
еще черемухи,
уже сирени.

* * *

В диковину милой чужого касаться плеча
и думать с опаской — как сила его горяча.
Квакухи из лога коленчата майская трель,
и ветошью мощно окутана древняя ель.
Ложится, что туча, ее исполинская тень
на волны свинцово-тревожные — это сирень,
чьи первые брызги, шипя, ударяют в стекло,
которое за ночь, должно быть, луною нажгло.

И мнится — что летом ухватчивей станет судьба.
По Плюссе на лодках начнет кочевать голытьба,
кукушка настойчивей в темной листве куковать,
чтоб письма ответные не утончали тетрадь.
...В заглохшей аллее ты будешь гулять с простецом,
заезжим паломником и торопливым льстецом,
что байками тянет и так уже долгий досуг.
Но сердце вспомянет... и сладко забьется испуг.

Тяжелой свечою сама поджигала мосты,
но утро открыло, что комнаты в доме пусты.
И в лисьей лавине неправдоподобной красы
мерещатся звенья уже заплетенной косы.

1981

ПУТЕШЕСТВИЕ

И.Ю.

1.

Мхи Соловок и леса Карел
желты, как будто прошел Кучум.
Как будто ветер туда влетел,
вверху осины багряный шум.
А то — черемухи белый чай
и тоже шумно, но шум не сух,
потому что всё впереди — и май.
Как трудно выбрать одно из двух!

Но души знают, о чем молчат,
и видят старый паром — причал.
Знать, Божий мир еще не почат.
С парома машут и стар и мал.

...По шатким сходням сойдем на брег
и тихо в гору пойдем туда,
где свежей и темной листвы гряда,
где есть для нашей любви ночлег.

2.

...А то Владимирских солнц фаюм
в прозрачной сетке дождя густой.
Сперва казалось, что день угрюм,
и продувало вагон пустой.

Контроль, дырявивший нам билет,
оттопырив губы, бедняк, не знал,
что Воскресения вербный свет
тогда над нами уже витал.

Припомни Нерли резную кость,
и как там жмурится лев один,
и на портале лозу и гроздь,
стволы в воде и зеркала льдин.

Не разлетается Благовест,
и замурована ржавью дверь...
Но образ Бога из этих мест
— разве только опять на крест —
никуда, никуда не ушел, поверь.

1977

НА ОКЕ

п р о д о л ж е н и е

...Еще салатový цвет листвы,
седые шапки речных раки́т.
С наклоном стриженной головы
надгробный мальчик беспечно спит.

И мы с тобой — почему? зачем?
— близки, как, верно, не будем впредь.
Моя рука у твоей совсем
лежит, и хочется умереть,

чтобы в распах оконных рам
увидеть сад и луча кристалл...
Как все волшебно предугадал
горбун, писавший кисейных дам!

Тогда мы станем игрой теней,
так плотно льнущих к твоим рукам.
Ведь там вдали — за порогом дней,
быть может, это простится нам.

Но пароходик стучит винтом.
Копна и челка твоих волос,
знать, мы достались любви живьем,
— темны от света идущих гроз.

1977

ЛАНДЫШ

Г. Овчинниковой

Блеснула смола сквозь прогорклую хвою
и снова не видно ее,
как будто свечу поднесли к аналою
и дунули на острие.
Но чудится — стало от ладана слаще,
чащоба подобна вратам,
и там в стихаре угловато-блестящем
есть кто-то невидимый нам.

В потемках притвора под сводчатой елью,
с евангельской лилией слит,
брат-ландыш, своею зеленой постелью
прикрывшись, как Лазарь, стоит.
Недаром, зная, мытарей грешных и косных
Господь милосердно привлек —
чтоб каждый под грузом бубенчиков росных
смирненно клонил стебелек.

1981

* * *

Месяц бледен и Врубель ревнив.
У маэстро повадки изгоя.
И пока его холст терпелив,
куст сирени не знает покоя.

Тишина. Лишь янтарный светляк
вылетает из-за поворота.
От росы укрываясь, пиджак
нахлобучил на голову кто-то.

Да еще под ногой зашуршит
белый гравий в классическом стиле.
И сирень на ветру закипит,
как глазурь в декадентском горниле...

Подойди ко мне. Это весна.
Это тульского агнца закланье.
Это русского царства казна.
Наше сердце и наше желанье.

1978

ЗЕМНОЕ ВРЕМЯ

Г.О.

1.

Всё вместе, всё рядом:
летучие пятна теней
и всплески под градом
жемчужно-зеленых ветвей.

Смолистые свечи,
сосновый розанчик сухой.
И поезд далече
дымит по мосту над Окой.

Пора в каталажку,
в калужском ржаветь тупике.
Ты ландыша плашку
сжимаешь в прозрачной руке.

Люблю твои слезы
за то — что они холодной
коры у березы,
когда мы одни перед ней.

Ветр приоткрывает
листвы голубиный испод.
И сердце не знает,
что время земное идет.

2.

За тучами скрылось
жемчужное солнце — сожглось.
Лицо увлажнилось
от всплеска плакучих берез.

За зиму в кладовке
пропах маринадом листок.
Толстовцем в толстовке
в лесу задремал ветерок.

Счастливец сдувает
со стебля прозрачный пушок,
когда подбивает
себе в полусне сапожок.

Возлюбленной речи
волнение во всем естестве,
как синие свечи
сирени в глубокой листве.

Она замирает,
крыла расправляя, — в излет
зовет и не знает,
что время земное идет.

1978

ВЕЛЕГОЖ

Калитки скрип лицом на Оку.
Уже туман на том берегу,
а тут в саду мужичок кулачит.
Горят червонцы на дранке крыш.
Бежит в меже полеваямышь.
В юродском образе сердце плачет.

Чужой подушки примят кочан.
Крадется сырость на мой топчан,
авось, теплее, когда нас двое.
Вот так, до дна (никого не звать),
еще стаканчик — и сразу спать.
Какое приторное, хмельное!

И все мерещится там, во сне
то гниль от яблок, то тень на дне,
подвал в репье да в трухе стропила.
...Я лоб ко притолке прижимал,
оконце мутное протирал

и видел ту — что меня любила.

.

За стенкой охает, спит мужик.
Уж слышен петела первый крик,
уж темь рассветная бирюзова...

Все замирает, зовет Господь
— и этот ужас, и эту плоть,
и эту искру живого слова.

КИММЕРИЙСКАЯ САГА

М.Блоху

Ястребок, один из сынов Израиля,
под Святой горой указывает — в путь!
На глазах гряда облаков истаяла.
Подсоленным воздухом дышит грудь.
Голубиной гальки цветное крошево,
но еще во всю холодит апрель.
Потому нежна акварель Волошина,
серокрылый ветер свистит в свирель.

За кустами старый шахтер качается,
помоложе смотрит над кружкой вдаль,
молодой без бабы весь отпуск мается.
От Советов к туркам ушла кефаль.
А за ней селедка, поди, потянется,
моряку дельфин не подаст руки.
Так у нас немного чего останется —
скорпионы да пауки.

И по дымным амфорам, стенам глиняным
будут ползать твари уже без нас,
потому что мы не на это выбраны
и на землю призваны лишь сейчас,
в миг
меж тем как запойный фрунзенец
по ночам в подвале пытал дворян
и когда отряды мокриц и гусениц
Киммерию ссыплют себе в карман.

...Но пока бутылку рука нашарила,
на пустой веранде у лоз сухих
ястребок, один из сынов Израиля,
читает высокопарный стих.

1977

ПУШКИН И ВОРОНЦОВЫ

п о э м а

I.

...Магнолий сливочных пудовые цветы.
Гулка кремнистая дорога.
Но если в сторону — цепляются кусты
и колют лядвия поэта-полубога.
Замри и вслушайся!

Он утром здесь бежал
в купальню с полосатым тентом.
Ведь педантичный граф не зря его считал
бездельником и диссидентом.

II.

Увы, от страсти нет надежных паначей,
и рококо Парни скрутило все карнизы,
когда колонны войск приветствовал лицей
и графа провожал на битву щebet Лизы.
...Когда ж с победою отважный генерал
домой вернулся невредимо,
счастливый государь его к себе призвал
и сделал богдыханом Крыма.

III.

Громоздкий Аю-Даг и был покрыт леском.
Но рядом две скалы и ласточкины сакли —

хозяин повелел отдраить их песком
и выстроил дворец, как задники в спектакле.
По склонам выжженным затеял виноград,
стал экономить снег, а то была утечка.
И превратился Крым в роскошный вертоград
из захолустного местечка.

IV.

Но знают школьники, что значит саранча
в судьбе великого поэта.
Миледи к завтраку вбежала сгоряча
и встала около буфета.
Невозмутим на вид, но втуне зол, как черт,
наместник посмотрел, хотел задать вопросец,
да призадумался...

Ты жалок, полулорд,
полутатарщина и полный рогоносец!

V.

«Купеческий корабль из греческих сторон!» —
внезапно графа извещают.
С подзорною трубой выходим на балкон
и видим: парус убирают
в жемчужном далеке.

Обрадован паяц,
велит свистать наверх, дает прислуге взбучку.
Купальня издали похожа на матрац.
И гений в суете графине стиснул ручку.

VI.

Совсем немного осталось досказать:
Элиза родила, тому виной Раевский.

Естественно, скандал не удалось замять,
о нем судачили Мясницкая и Невский.
...В Одессе, где каштан весною свечи льет
и мальчик по нужде сейчас зашел за кустик,
поставлен памятник.

А Пушкин в свой черед
невдалеке имеет бюстик.

VII.

И мы гуляли там! И ты была со мной!
И обезьяний крик зеленого павлина
мешался с отблеском лазури слюдяной,
дремучим сумраком жасмина.
Сквозь вереницу дней несет моя рука
— никто твоей любви небесной недостоин —
прощальный поцелуй, подобье мотылька.
Не правда ль, ты одна... ты плачешь... я спокоен.

апрель 77, Алупка

КРЫМ

п о п а м я т и

...Там греческий космос наполнен богами,
и живность морская с лицом и руками,
и русская Ялта под синей горой,
где мы никогда не гуляли с тобой.
Развешены в чашах цветные гирлянды,
доносится джаз с танцевальной веранды,
под ситцем — готовым ожог холодить,
красоток тела не успели остыть.
...У пирса швартуется белое судно.
И с цветом иудиным там обоюдно
нагорные розы в сплетенье густом.

И бабочки мечены черным крестом.

1976

ПИЛАД И ЭЛЕКТРА

памяти детства

1.

Электра стриженной головкой
затмила всех — увы!
Она была, как кошка, ловкой
и препоясана веревкой
на фоне синевы.

А вокруг — взлохмаченные девы
вдруг поднимают вой.
Эринии! Да их напевы
услышит и глухой.

Ты взор горячий обращаешь
на царственную мать.
Ты вождление внушаешь
тому — как ты не понимаешь! —
кто дал обет молчать.

И он идет бесплотной тенью
вслед за тобой туда,
туда — к отцову погребенью,
где в тишине журчит под сенью
пурпурная вода.

2.

Пилад глаза не закрывает,
но где его протест,
когда в грудь матери вонзает
короткий меч Орест?

Кричит и стонет Клитемнестра,
хохочет и хрипит.
А на холме из алебастра
безмолвствует Пилад.

Он словно поглощает звуки
Электре вопреки.
Орест в потоке моет руки.
Все трое вы — враги.

Вот отчего поют сирены,
загар еще темней,
и столько пышной рыжей пены
в отстойниках камней.

1976

ЛИМАН

шесть стихотворений

...Вдруг стало видимо далеко во все
концы света. Вдали засинел Лиман, за
Лиманом разливалось Черное море.

Г.

1.

Ветер, снявшись, как парусник, с дальнего мыса
нас догнал и повлек.

Море Черное волнами цвета маиса
бьет в упругий песок.

Возвращаться домой по-осеннему рано,
не озябнем, сестра!

Отдохнем у широкого устья Лимана,
тусклой дельты Днестра.

От одесских степей — до развилок Дуная
налился виноград.

В глинобитных давилнях его отжимая,
молдаване, как фавны, галдят.

И когда подают краснопенные вина,
надо пить за кувшином кувшин,
чтоб понять — почему у плетеного тына
дремлет белопорточный румын.

Ты настолько же близко, насколько и зыбко,
и рука в красной блузе смугла.

А панама с полями, печаль и улыбка,
та, которая нам помогла!

Если выбросит вдруг на ракушник медузку,
я верну ее морю скорей.
Вспомню смуглую руку и красную блузку
той, которая много юней.

...Но совсем далеко — у хорватской границы,
где солончатой брынзы запас,
где свободно поют итальянские птицы,
ветер, только что нам обжигавший ресницы,

ничего не расскажет про нас.

2.

Ты настолько же близко, насколько и зыбко.

Ничего, ничего —
все равно на губах твоих та же улыбка,
что и в мóроке сна моего.

И когда долетит молдаванская скрипка,
принесут виноград и айву,
ни за что не поверю, что это ошибка,
и тебя позову наяву.

...И тогда в этот дом с голубыми углами,
где просторно плющу,
ты придешь в красной блузе, в панаме с полями...
И отвечу тебе и прощу.

Потому что ведь разве возможно такое
на закате души,
потому что у нас все болит, все живое,
все знакомое с детства, с пеленок родное,

а потом намечталось в тиши.

3.

...Там, где рокот прибоя ломился
к нам в хибару, когда по ночам
головой к тебе приклонился
и руками прижался к плечам,
там, где Пушкина нежный портретик
стрекозой на булавке висел,
где болтался дверной шпингалетик,
виноград на тарелке чернел,
где когда-то, когда-то, когда-то
со стаканом вина на порог
выходил и глядел я куда-то
и задумчиво делал глоток,
где теперь только вьюги воркуют
да трепещет сухая лоза,
— там по мерзлым ракушкам кочуют
наши образы и голоса.

Каково им приходится ныне,
и о чем они шепчут сейчас
в запредельной молдавской пустыне,
вспоминая отступников — нас?

4.

Виноград залез в беседку,
переполнил сад.
И айва согнула ветку,
не слышать цикад.

На базаре молдаване,
бочка да стакан...
Боль в душе да рубль в кармане,
наливай, цыган!

Погляжу на дно стакана,
на седой Лиман.
Рубль достану из кармана,
наливай, цыган!

Визави от Аккермана
дымки поясок.
Там на берегу Лимана
сяду на песок.

Грейся, грейся, шелудивый;
в солнечном ветру
в день осенний торопливый
верь, что всё к добру.

5.

Все подернуто туманной поволокой,
 пленкой слюдяной.
То с приморской линии далекой
 поднялся осенний зной.

Над Лиманом чайка разыгралась,
 надо видеть, надо плыть...
А иначе счастье или жалость
 могут горло задушить.

Моего живого средоточья
ты хотела стать венцом.
Но пойми, любимая, воочью —
нет венца перед концом!

.

Так прощай, руина Аккермана
и соломой крытый бастион,
где на сером берегу Лимана
захмелевших клонит в сон.

Я айвовому седому югу
оставляю верную подругу,
но прощальные слова
вкладываю — в нищую Калугу
и туда, где спившаяся с кругу,
с вырезанным сердцем — ждет Москва.

6.

От подсвеченной ртутной седой листвы,
от косога дожда, от ночной Москвы,

где желты изнутри поезда в земле
и Антихрист хобот задрал в Кремле,

где идет на нас из-за толстых стен
от чугунных рак самодержцев тлен,

от всего что тут — ко всему что там,
но куда вовек не вернуться нам,

обращу лицо на пустынный пляж,
где живет еще тайно образ наш,

переплавленный в слюдяной мираж.

3.10.76

ОТЗВУК

Я не бурной реки разговор,
что о камни дробится в упор,
рассыпается радужной вспышкой...
Я не путник, спустившийся с гор
с бурдюком и барашком под мышкой.

Нет — под синие залежи туч
не спускался я поутру с круч,
не сидел возле моря на камне,
не глядел я на солнечный луч —
эта благодать совсем не нужна мне!

Чтобы роз аромат не затих,
крымский день чересчур беззастенчив.
Я лишь отзвук желаний твоих,
верный отблеск зрачков золотых...

и поэтому так переменчив.

1972

* * *

...То ли панна с прозрачным лицом
в ветхом замке, где спальня-ловушка,
то ль под маковым свежим венцом
чернобровая ведьма-хохлушка,
то ль светлы от белёных лачуг
сладкогласые темные ночки,
то ли блестящие, точно жемчуг,
водомерки в подгнившем прудочке...

Но становится ясно одно:
что крепка у полячки темница,
что вцепилась и тянет на дно
в облепившем рядне молодица,
между тем — как готовый картель
кровожадно темнит промокашку
и заря подгоняет дуэль,
нагружая черешней фуражку.

1981

* * *

*То ли в шейный оробелый
позвонок ее укус,
то ли это ржи неспелой
шевелится рачий ус...*

Малороссии нежная статья
с польской примесью граба и дуба.
То ли ведьмочке весело спать,
то ли панночке баловать любо,
в третий раз искушая судьбу
на высоком помосте ночами
в сладострастно открытом гробу
с обнаженными лежа плечами

и лавиною темных волос?
...Ранний Гоголь с румянцем хохлушки
в саквояже на север привез
рецептуру летучей галушки
прямо с праздничной кухни бурсы.
Иль у дивчины мертвая хватка,
иль у панночки нос и усы —
профиль, алчущий миропорядка.

1981

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЕРМОНТОВУ

...мира и забвенья
Не надо мне!

Л.

В альпийском леднике седеющем подснежник
разбуженный угас.
Мир сердцу твоему, хромающий мятежник!
И прежде и сейчас
от выщербленных плит кавказской цитадели
не близок путь.
Печальные глаза с овальной акварели
закрой когда-нибудь.
В испарине скакун, армейская рубаха,
омытый солью стих.
Но твой жестокий смех сжимал сердца от страха
на водах у больных.
Ты зримо презирал актерские повадки
державного паши.
Но молния сожгла походную палатку
твоей души.
...Не голубой мундир своею черной кровью
смывает желчный грим с усталого лица,
а Демон, наконец, спустился к изголовью
взглянуть на своего творца.

1977

ФЕОДОСИЯ

Вместо солнца пятна воска
вкраплены в атлас.
Духом винного киоска
пропитало нас.

Утром — головокруженье.
В полдень — жидкий стул.
А впотьмах — до изможденья
хочется в Стамбул.

Сладострастно и умело
за один присест
освежают турки тело
за крестильный крест

и отправят поправляться
к греческим богам.
...С миллионщиками знаться,
стать любимцем дам,

целовать худые руки,
несть мужицкий бред,
видя плюшевые брюки,
стеганный жакет.

...Но крадясь к ночному пляжу,
галькою шурша,
не наткнись на третью стражу,
смертная душа!

ЯЩЕРКА

У губчатой соты заглохшей кавказской осы
на ящерке выгнулись две золотых полосы

— лукавый глазок, а под ним допотопный оскал, —
сверкнули на солнце.

И сколько ее ни искал...

В пещере сочатся прозрачного кварца сосцы.
Халвою крошатся слоистого камня резцы.

...Напомнила ящерка наши грядущие дни,
когда по ущельям повиснут скрипучие пни,

когда ее мышцы наполнятся плотью сполна
и хищные лапы смиренно омоет волна.

17.6.77

В ПУСТЫНЕ

Коричневая твердь — гигантская ириска
скалы, приподнятой над чашей тамариска
с блеснувшей ящеркой — рыбешкою в пруду,
как будто близок миг, когда к тебе приду,
без дрожи в голосе поведать не умея
про этот тамариск и маленького змея.

Холмы и впадины слабеющей пустыни
с боков потрескались, подобно коркам дыни.
Колючки крошечной жесток укус в пяту.
Соленый суховей на веках и во рту,
где высохший язык устал просить поблажки,
но нечем окропить его из теплой фляжки.

Над дремлющей землей приподнимая полог,
на миллионы лет здесь счет ведет геолог.
Но так высок зенит и неизменен час,
что, кажется, хитрец обсчитывает нас,
спортивной кепочкой прикрыв нагое темя,
тасуя бытие и подгоняя время.

1977

НА ГРАНИЦЕ

д и п т и х

I.

Драпировки темной тверди.
Жухлая трава.
Дуновенье сонной смерти,
значит, смерть — жива.

Веси знойного тумана.
Бежевая синь.
Вместо воздуха дурманнный
запах спелых дынь.

Всё звенят ветра-скитальцы
в руслах древних рек.
И не в силах тронуть пальцы
воспаленных век.

Азиат с погранзаслона,
выйдя на крыльцо,
должен сам узнать шпиона
издали в лицо.

Но, видать, его сморили
миллионы лет.
И шепотью желтой пыли
стал его скелет,

уносимой до Ирана
через все посты...
Настоящая Нирвана,
вот какая ты!

II.

В белых скалах ежевичник
глубоко растет.
Загорелый пограничник
скалит черный рот.

За узду привязан к вышке
азиат-скакун.
Горизонт подобен вспышке
сладострастных струн.

В знак восточных наслаждений,
словно дынный сок,
по колючкам заграждений
пробегают ток...

В знойном воздухе Ирана
золотой мираж.
Там глубокая нирвана.
Он еще не наш.

Солдафон подвержен сплину,
зад провис, что куль...
Но рванись с холма в лощину —
цокнет вслед
и пустит в спину
ленту жгучих пуль!

1977

ФИРЮЗА

В опальной зелени Туркмении
гранаты бурые поспели.
Рассохлись хижины в селении,
как глиняные колыбели.

Сонливо ослики сутулятся.
Ирана чувствуются чары,
когда мелькают в пекле улицы
пугливо яркие шальвары.

Пятнадцать лет, поди, красавице.
В гарем какого-нибудь шаха
ей скоро предстоит отправиться.
От ожидания и страха

ее глаза, что виноградины,
свернулись в черные кровинки.
И греют маленькие гадины
свои серебряные спинки.

1977

ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1.

Волн голубичный свет
с гладью у горизонта.
Сон, скандинавский бред
Стриндберга и Бальмонта.

Холод встает со дна,
в каменной тонет чашке.
Ты на ветру одна
в светлой до пят рубашке.

Всё в полотне твоём
с листьями по подолу
шепчет — что мы вдвоем.
Страшно достать «спидолу».

Сквозь густоту помех,
трески и неполадки
новость одна на всех:
это срока посадки.

Это — суды в Москве
с тьмью в лубянских шхерах,
с лазерами в траве
возле скамеек в скверах

15 августа

2.

...Как осьминожьих пней
в печке трещат обрубки.
Желтые мхи с камней
пористы, точно губки.

О земляной покров!
Ягода, вереск, змеи.
Ветер до облаков
и смоляные реи.

Дай, потушу свечу,
сплющив фитиль рукою.
Дай, к твоему плечу
тихо прижмусь щекою.

Ягель среди берез
снится, упруг и нежен.
Вот бы таким зарос
путь от Кремля — к Манежу!

Лосю бы там бродить
в красных руинах важно
— чтобы и там любить
было тебя не страшно.

16 августа

3.

Это Чурлёнис пел
(искус болота топок)
коричневатый мел
у голубичных сопок.

Кладбище серых пней.
На волосах короны
рыжих — у финских фей.
Полутона и стоны.

Это — чутье конца,
искусы ранней смерти.
Это — бедны сердца,
ядрышки в круговерти.

Скажет одно: возьми
сыпкую горсть брусники.
Женственность лет с восьми.
В сорок — повадки дики.

Сольвейг... сосна... судьба...
Как все шемаще, Оля.
Кюева тут Губа.
Стало быть — Божья воля.

17 августа

4.

В густо-морской листве
густо красна рябина
самых простых кровей.
Пресека и трясина.

Лучше любить, уснуть
прямо на хвойных лапах.
Весь комариный путь
по большаку — на запад,

верно, пришел к концу,
что ему делать с нами?
Ляжем лицом к лицу.
Тихо прильнем губами.

«Первый... один... родной...»
Высь с реактивным гулом.
Буду водить рукой
по волосам и скулам.

...Пить пустоту в горстях,
преображая в с л о в о
осени теплый прах.

*Груздево и Дюдьково
31 августа*

5.

То прочно, то хрупко —
и что еще скажешь об этом?
Какая уступка
тебе, обжигаемой светом,

придется по сердцу?
Я, правда, не знаю, родная,
последнюю дверцу
из наших сердец открывая.

Весь лес, как барышник,
казною трясет листопада,
когда говоришь мне:
«Ты первый, другого не надо».

И сыплются листья
сквозь ветви сухими стручками.
И бурые кисти
рябины срывая скачками,

мы чувствуем оба
у выселки в тающей чаше,
что каждая проба
под небом немеющим — слаще.

1 сентября

6.

Как лают дворняги
на сродника миропорядка,
бродягу в сермяге
у паперти, вымытой гладко!

Николы в ограде
опрелым несет сенокосцем.
И яблоки в саде
прихвачены первым морозцем.

Зарос иван-чаем
погост, словно розовым лесом,
радушно встречает
осенним лучом, благовестом.

Как много народу
поутру спешит помолиться!
Иль с хлеба на воду
не могут и так перебиться?

Взгляните на осень —
какая она побируха.
Как жадно гундосит
последняя сонная муха.

2 сентября

7.

Вихрастое сено
и нищего ветра котомка...
В знак первого тлена
уже позолочена кромка

за свалкой овражной,
где вянут цветы иван-чая,
в крапиве сермяжной
верхушками грустно качая.

Я сторожем в храме.
Но староста наш однорукий
усат, как в исламе
воинственные мамелюки.

Пылает рябина.
Свищу, подзывая собаку.
И бедная псина
ко мне подбегает по знаку.

Вот тюрю да кости.
Как густо спускаются в доли
кресты на погосте,
что у голубого Николы.

1 сентября

8.

Нашу встречу стоит торопить?
Стала топью прежняя дорога.
Вместе не бывать. Друг друга не любить.
Кажется, совсем немного.

Лечь на землю в золотом краю.
Журавлиха, оборвав постромки,
улетает. Я не узнаю
этот зов призывно-ломкий.

Словно отрок, в дальний монастырь
идуший — зарыться
в листья теплые... Как нужен поводырь
тем, кто смел в тебя влюбиться!

Поглядеть на дальний буерак,
где свиданий наших мета,
и в последний раз поднять кулак
и разжать — туда где это.

...Божью радость не постичь до дна.
Потому гнетет и сушит
Родина — когда она одна,
журавлиную младенческую душу.

9.

От Воздвиженья — до Покрова
свет листвы, умирающей жадно.
Над Загорском еще синева.
Но уже под снежком Александров.

В эти зябкие утра просить
за свое — Иисуса не надо.
Ведь Ему полюбить
недостойного — тоже отрада.

Так бывает, пугают Судом,
угрожают, что грешен.
Но теперь не о том.
Слаб, зато безутешен!

Я не брезговал вонью сеней,
проходя в разоренные дома.
По углам одичалых церквей
видел, как паутины весомы.

И на красную ложь
наложил свое слабое вето.
Уповаю. Так что ж.
Разве против Завета?

3 сентября

1978

* * *

На холмах, покрытых снегом,
колосится воздух-рожь.
Наст глаза слепит при этом.
Ветер соткан из рогож.

Самолетик весь бескровный,
уподобясь миражу,
оставляет в тверди темной
снега рыхлую межу.

Так лети, лети, служивый,
санным следом сумрак рань,
в жадных поисках наживы
всё пространство прикармань:

драгоценную пушнину
зимних гаснущих небес,
ночи звездчатую льдину,
вставшую наперерез...

Но, сорвавшись с выси страшной,
ты, серебряный комар,
не разбей земной, пустяшный
елочный стеклянный шар.

29.2.77

СЕНОВАЛЬНАЯ БАБОЧКА

*Белгородские ночи на выданье...
Белозерские ночи, что дни...
Широко по России раскиданы,
где им надо, ночлежки мои.*

Помню влитый в судьбу невесомую
предосенний уже сенокос
и твою вперемежку с соломою
иудейскую лаву волос,
что в гербарий заволжского севера
по причуде своей притекла
и в пути неподсохшего клевера
стороной обойти не смогла.

...Возле самых висков, непреклонная,
словно видела правду насквозь,
сеновальная бабочка сонная
с учащенным дыханием врозь
замахала крылами окрепшими
в зарябившем в глазах вираже

и — присев на оконце ослепшее,
навсегда уцелела в душе.

1981

СКОРО

Я не знаю, кем, но ты любима
И.А.

I.

Подмосковной ромашки отважной
по-античному жертвенна стать,
но на каждой, на каждой, на каждой
почему-то нам страшно гадать.
Верно, беден приход — позолотца
понемногу сыпалась в казну
с лягушиным концертом болотца.
И спешит, помолившись, ко сну
облаков позолотчик и резчик...
Или ты боязлива к судьбе,
или я, от другой перебежчик
в никуда — но сначала к тебе.

II.

На признаки Родины скуп я:
лишь тень у родного лица,
сосны лягушине струпья,
молочных ростков кислотца.
И что бы ни наобещала
душа в медовеющий мрак,
я знаю, что тоже устала,
и видит, и верует так.

Певуче, нетвердо, греховно
в ней все отвечало, любя.
Но скоро бесследно и ровно
она поглядит на тебя.

1981

* * *

Все дрожишь — как бы выжить
и себя не срамить.
Жжется — ежели ближе.
А подальше — остыть
по-покойнически просто,
хоть и страшно в конце.
И такая короста
лжи на сонном лице,
словно ей незаконной
отдал все до гроша.
И к земле оскверненной
прижимаясь, душа
раньше времени взглядом
ищет на небе Град.
А Господь — Он ведь рядом
над свечами распят.

1981

ХОЛМЫ ХОХЛАНДИИ ЛЕСИСТЫЕ...

1.

Холмы Хохландии лесистые
нам еле видятся с холма,
где Лавры картуши лучистые
и служб белёные дома.
То слуховое, то чердачное,
то золоченое, то медь,
зеленое полупрозрачное,
стремящееся голубеть
в подвижных брешах неба хмурого,
и листьев дышащий хаос,
и монастырского каурого
из бронзы отлитый навоз,
и завиток тигровой лилии
в саду у погребальных плит,
и окаемка на воскрылии
больших почаетовских хламид
— вдруг вспыхнут обручальной искрою
во плавкий сумеречный час,
когда монашек смертью близкою
пугает, улыбаясь, нас.

2.

Блесткое гаснет рядом,
ливень почти перестал.
Сено еще зелено,
клевер еще не завял.
Лишь подсыхают края,
да темнота по углам...
Словно улыбка твоя,
больше не нужная нам.

Возле карпатской гряды
щедро олифит июнь
Лавры густые сады,
золото, медь и латунь.
С силой проходят лучи
сквозь потаенную брешь
в кронах, где хрипнут грачи.
Если умеешь — утешь.

Иноки споро пошли
трапезовать у стола.
Валкие, как корабли,
перед грозой купола.
Держат махину креста
снасти, натянуты вкось...
В светлую гавань Христа
лучше, родимая, врозь.

1981

* * *

Под серым холмом
от гречихи медово и горько.
Вот жил бы с умом,
так хватило б и этого только

да в день для острастки
бутылку горилки от силы
— до бронзовой краски
наивной хохлацкой могилы.

Удилища мальвы
в соцветьях малиново-белых,
хранили б печаль вы
в своих коробах опустелых,

да горлица в ряби
крылами забила, взлетела —
осенние хляби
темны для пугливого тела...

Но нет, распрощаюсь
я скоро с Хохландией нежной
и не обещаюсь
вновь свидеться с ней, безмятежной.

Не жить мне и дома
в России моей невозможной,
чья хватка знакома,
ни в Праге, ни в ясновельможной...

Но часто ночами
мне будет мерещиться это
с тугими лучами
славянское влажное лето,

где детки не плачут,
где батьки свежуют цибулю,
живут на удачу
и бачут москальскую дулю.

Судьба остается
с надеждою, точно казачка,
что с л о в о вернется,
как в шапку слепого — подачка.

1981

УЖГОРОД

Олексе Тихому

Горлица в дымке лозу
цепкою лапкой когтит,
темную каплю-слезу
зорко в глазничке круглит,
глядя пугливо — в края,
где оползла по бокам
древних дорог колея
в а в г у с т е, памятном там.
Над густотравием рва
горлица — порх — из листвы
темной... Границы плева,
тонкая до синевы,
— это как мыльный пузырь,
ради ребячьих забав
радужно лопнувший вширь,
влагою лица обдав.

*

...Чем настойчивей хлопец-цыган,
глядя усики, точно колючки,
за червонцами лезет в карман,
и какие-то русские сучки
перед сумочкой пудрят лицо,
тем тесней прижимаясь к ограде,
коренастое роз деревцо
прикрывает с в о и х в палисаде.

И волнистые склоны вдали,
что курганы, целы, голубея,
— чтобы детки Бандеры могли
там лежать, ни о чем не жалея.

1981

ПИРОСКАФ

Будет мне в ватнике сальном трудиться,
вольнонаемным на нары валиться,
будто я тоже ничей.

Пить — но не эту же дрянь дрожжевую,
знать — но не эту вражду ножевую
гадко заросших бичей.

Пусть вытирают ботфортой ботфору,
гнутся в поклонах зеленому черту,
вспомни — кто ты, кто они.
Сердце еще не оставило Бога.
Речь не лишилась последнего слога.
Не обесплодели дни.

Взгляду мятежному в тусклом окошке
мало бывает гриба да морошки.
И повторяется сон:
входят разбойники к старцу в домушку
и выпускают его за полушку
душу — на Новый Афон.

...От комарья в заболоченном лесе
я поднимаюсь на новые веси,
к новым спешу миражам.
Валко встает за бортом пироскафа
белая колониальная Кафа
с пестрой толпой горожан.

Кто я — подскажут прозрачные горы,
волн шелестящие солью повторы,

шелковый смоквы жирок...
Шея для зноя готовно открыта.
И уживается с веком семита
серый заволжский зрачок.

1981

У ЭВКСИНСКОГО ПОНТА

*Тут и Феодосия-голубка
гулит соль из прибрежных чаш,
и на ощупь твердая Алупка,
и предатель Родины Сиваш.*

I.

Весь воспаряющий над Черноморьем Крым
в заплатах дымчато-лиловых:
и дамы смуглые, берущие калым
с любовников бритоголовых,
и честно пашущий кораблик вдалеке,
что уподоблен блестящей точке,
где мака дикого на черепе-скале
оранжевые лоскуточки,
и камни пегие подобно тушкам птиц,
и пляж с пьянчугой-красноярцем,
и пышный сосен мех, длиннее игл и спиц
— над белой осыпью и кварцем.

Здесь снова испытать улыбчивый испуг
на циклопической ступени
тропой сыпучею — стопа в стопу
придут однажды наши тени.

II.

Монархически-женственный лоск
кипарисов и пальм Симеиза.
Ливадийский бочоночный воск
опечатал врата Парадиза.
И от йодистой знойной воды
манит тенью татарская арка.
Как обветрились у бороды
и в подглазьях морщины монарха!

Заломил, задробил соловей,
заглушая зазывное: «Ники!»
— относимое ветром *левой*
всей социалистической клики.

...Не задаром дарует Господь:
и на кортике крабью чеканку,
и лозу, и любезную плоть,
и у белого мола стоянку,
и грузинской дороги пенал,
и казачью Украину воловью,
и Тобольск, и свинцовый Урал
с голубою емелькиной кровью.

III.

В цепких гирляндах глициний
бел ливадийский дворец.
Особи лавров и пиний
возле татарских крылец
словно забыли с владельцем
свой погребальный союз.
Лишь студенистые тельца
прямо на гальку медуз
понта Эвксинского качка
бросила в йодистый зной.

Это темна, как болячка
на локотке у родной,
роза в скорлупчатой чаше,
стриженной по окаем...
И августейшее — слаще
в смертном обличье своем.

IV.

Пенистый малахит
в скальной оправе понта
больно глаза слепит
блестками горизонта.
Перебегая в тень,
стала от зноя слаще
вянущая сирень
в дикой приморской чаше,
что от татарских дуг
сонных — манила новью
и обернулась вдруг
белогвардейской кровью.

Конские черепа
скал высоки, отвесны.
В осыпь ведет тропа
прямо по краю бездны.
Грубый хитон, хитрец,
было надел Волошин,
сей любодей-истец
гладких морских горошин.
Но все равно слышать
бойню Чрезвычайки.
И перестав скучать,
падали алчут чайки.

V.

*В новосветской хибарке, дотоль
нежилой еще в этом сезоне,
под дождем, барабанящим в толь,
с паучком-паникером в ладони...*

Сосен пушистых стая
сгрудилась над отвесной,
— свечи в ветвях качая,
тайно манящей бездной.

Что если прыгнув сходу,
плавно на камни ляжешь,
перемогнув природу...
Что мне на это скажешь

ты, заслонясь враждою
к Новому Свету — раю?
Что за моей спиною
мне припасли, не знаю:

пайку ли на затравку
с проволкой на заборе,
или в ночи удавку,
или иное море...

Жертвенное нетленно.
Вещее многогласно.
Гибельное мгновенно,
ласково, безопасно.

VI.

*Милая по руке
хлоп! — как когда б отравлено.
За полдень в погребке
много чего оставлено.*

Большому кургану сродни Митридат.
Коптится и вялится Керчь.
Товарок ее контрабандный наряд
и ныне способен зажечь.
А там — за проливом — невестится в рань,
вечор золотисто-грязна,
над тускло-бутылочной гладью Тамань,
притон, арсенал и казна.
А Кафа бела на зеленой горе,
где темен изменчивый понт
иль дымно-прозрачен, когда на заре
— зазывно открыт горизонт.

.

До третьего неба поднимет волна
и Кафу, и Керчь, и Тамань.
И встанет под клеймами в виде челна
державная Тьмутаракань!

май 1980

* * *

Уйду ли за волну в слабеющую даль,
чуть выплывая косным телом,
на Черном высушусь до струпьев, что кефаль,
или совсем сопьюсь на Белом.
А может быть, и тут — в зачуханном краю,
мне как-то более привычном,
с глубокой колеей, зовущей в путь мою
телегу хлипкую на царство в Верею,
— и бегом инея в пространстве голубичном.

7.9.81

* * *

Мне страшно от мысли,
что ты остаешься одна.
Прости, но исчисли
все образы нашего сна:

как ивы нависли,
как птицы срывались с рябин.
Мне страшно от мысли,
что я остаюсь не один.

Винцо золотое
и свечи в берложной ночи —
всё наше родное.
Теснее и жарче шепчи.

Холмы и деревья.
Мы словно боялись труда
оставить кочевье
и только подумать — куда?

И вот наступает
давно предвещаемый час.
И жизнь разнимает
и нас отнимает у нас.

И только упруго
ложится прощание в стих:
до встречи, подруга!
До новых скитаний слепых.

октябрь 77

Памяти Петрограда

ЭТЮД

Д.Б.

Копыта над корчью змеиной.
Под тонкою тогой — плечá,
покрытые свежей патиной,
родителя и палача.
Мы сироты власти Петровой,
что ласковой кажется нам.
Под стенами крепости новой
навстречу торосам и льдам
он терпит едва на престоле
одряблой кагал татарвы,
все цепче держа на приколе
летучее устье Невы.

1979

НА КАЗНЬ МАЙОРА ГЛЕБОВА

Гнёзда морозных терний.
Хрустко скрипит слюда.
Знать, из других губерний
кто-то спешит сюда.

Рыбу везут в столицу
из соловецких тонн,
чтобы согрел царицу
свежий жирок с ладонь.

Светится дверь прихода.
Ликов пожух янтарь.
И над крестом — колода:
«Се Иудейский Царь».

*

Сельди во льду и птицы
в черных ветвях в ночи.
В связке императрицы
от погребов ключи.

Много она скопила
снеди из разных мест.
Всё государь Петрила
с верфи вернется — съест.

Стекол цветные клетки
влиты в оправ репье.
И отрясает ветки
сальное воронье.

*

Месяц горит высоко.
Спит на колу солдат.
Пусто и одиноко.
Нечего делать, брат.

В монастыре Авдотья
срачицу с тела рвет
и на свои уголья
бесам глядеть дает.

Дровни сползают к устью
меж ледниковых гряд.
И тишина над Русью —
это Святые спят.

*

...Наше оконце терний
гнездами заросло.
Павы слетелись в иней.
Феникс когтит стекло.

Ночи, они что птицы
алчные — любят плоть.
Милая, у божницы
пальцы сведи в щепоть.

Перья черны и сизы.
Как задубел — спаси!
— край у Небесной ризы
со стороны Руси.

23.2.78

В ПЕТРОГРАДЕ

I.

Воспаленные ноздри тучных вельмож,
точно жены наставили им рогов.

И кусает всех просвещенья вошь,
и заест ведь насмерть, без дураков.

У Петра в очах по осе сидит,
и круглит плеча жестяной доспех.

А сынок его за рубеж бежит,
девку кутая в соболиный мех.

Ах, Алеша! — это такая боль!
Возвращайся вспять да на дыбу лезь,

потому что мощи твои — юдоль,
из которой дух был да вышел весь.

Россияне, точно клещи в хвоще,
каждый сызмала неумын, щербат.

Помолись за нас в небесах вотще,
Алексей Петрович, собинный брат!

II.

Ржав доспех петроградского дуба, но
не уйдет столица болот на дно.

И янтарно склеила пальцы смоль.
О какое чудо! Какая боль!

У осиновых волчьих зеленых глаз
собрались морщины. Усы торчком.

Но Россия — мамка и любит нас,
хоть и учит палкой с кривым сучком.

По-отечески тяжела рука,
император плотничает, щекаст.

Так пойдем, не бойся, хоть хлябь хлюпка,
но упруг и прочен ледовый наст.

Не пищит комар, потому мороз.
Золотится на солнце медовом шпиль.

И струится иней твоих волос,
как замороженный в сопку седой ковыль.

III.

То ли жизнь прошла, то ли голос сник,
даже скулы мне тишина свела.

Или Павла вопль, Александра крик
заморожены, вот и все дела.

О Имперский Сад! Мой собинный друг,
не сберег ты свой золотой доспех.

Раздели со мной золотой досуг.
Тоже и помолчать не грех.

...И послушать, как скрипят сапожки
у моей любимой, идущей вдоль
по аллее, подобной игре в снежки

О какая радость! Какая боль!

— на границе осени и зимы,
на границе всего, что было дотоль
и того, что будет, ежели мы
возвратимся каждый в свою юдоль.

20.11.76

ВОСЬМИСТИШИЯ

Павлу

Черные ветви. Плац.
Вьется метель куницей.
Выряжен, как паяц,
русский медведь с косицей.
Тенью пройдя на смотр,
выучку прусских правил,
шепчет Великий Петр:
«Ты рогоносец, Павел!»

Чаша обнажена.
Колются пни и ветки.
Мертвая — не жена.
Лебедь уснул в беседке.
В Гатчине каждый куст
октябрьский ветер окровавил.
Жалобный слышен хруст:
«Ты рогоносец, Павел!»

Людовик и Новикóв
мучались от простуды.
Как пропитал альков
запах ночной посуды!
Кажется, палача
тянется в фортку лапа.
В спальне у рогача
скрипнула дверца шкапа.

Ямы алмазит пыль
возле Эскуриала.

Пален и князь Яшвиль
прячут в плащи сусала.
С нетерпеливых рук
лайковую сметану
тянут: веди, гайдук!
Что потрафлять тирану?

«Гатчинский лебедь спит,
как Фридерих пред боем.
Снится, что я убит.
В порфире с красным подбоем
перед Всевышним смог,
пав на одно колено,
крикнуть, что я двурог!
И во дворце измена!»

...Помню тот парк и пруд
в семидесятом годе.
Сам я богат, как Брут,
грезами о свободе.
Весь монолит хором,
где поедали брашна,
чтобы душить потом.

И ничего не страшно.

7.11.77

НА ОТЪЕЗД ДРУГА

ш е с т ь с т и х о т в о р е н и й

С К а м е н н о о с т р о в с к о г о м о с т а

Селезень на льдине в блещущей воде
розово-зеленой... пусто, как нигде.

Словно восемнадцатый на пороге век
и не расплодился тут русский человек.

Только справа — крепость с золотым огнем.
Только слева — м е р т в ы й на Литейном дом,

да мошка чухонская спит во всех щелях.
...Ветер перламутровый в ледяных полях

проводит Дмитрия из родимых мест
от сорокалетних плакальщиц-невест.

27.2.79, 18 час. 15 мин.

Т о с т в м а р т е

Сгусток перламутровый. Солнца медуница.
Повезло Державину, что была Фелица!

Со шлафроком схожая старческая кожа.
Но какое творчество и какой вельможа!

Нежное атласное, все тогда шуршало,
все купалось в золоте или — трепетало.

Фейерверки, праздники, первые статейки...
Дух свободомыслия от прелюбодейки.

Дмитрий! Выпьем горькую за сию персону —
истина улыбчивей, если ближе к трону.

...За белужью позднюю мертвую денницу,
одописца-гения и императрицу!

В а р и а ц и я

Льет перламутр из лона
туча над морем мгlistым.
Как мастерок масона,
отблеск на льду скалистом.

Сосны, луна, поляна
глянцевая, что кожа.
Это вошла Светлана
в спальню чухонца-дожа

и выгибает тело
в девичьем сарафане.
Если такое дело,
значит каюк Светлане.

Глухо стреляет пушка.
Полночь грозит удушьем.
Верно, душна подушка.
Смазка потребна ружьям.

Циркули, точно духи,
кружатся у постели.
Пиковые старухи.
Павел с лицом Емели.

Губы твои, Россия,
в зале порфирно-алом
от поцелуев Вя
пахнут хохлацким салом.

Урок истории

Жизнь всегда с подвохом. Надежней сон.
Это ясно видел любой масон,
что печаткой плющил сырой сургуч,
подражая абрису финских туч.

В позлащенный циркуль впелась лоза.
Черный бархат туго стянул глаза.
Острие рапиры. Мираж святынь.
Жухлой тушью писана та латынь!

Но все чаще дамы шептали: ах!
— отдаваясь виду парижских плах.
Решено к Сенатской стянуть войска.
А в Сибири — лапу сосет тоска.

Это были люди не нам чета.
Но сплетались в них на манер жгута,
как терновый путь и военный туш,
вера в Бога — с верой в кровавый душ.

В ч е р н ы й д е н ь

В черный день золотой огонь
крепостного зámка сожжет ладонь,
ту, что ты поспешно прижал к стеклу,
за которым видно его иглу.
Ты теперь навек покидаешь дом.
Ты теперь навек покидаешь дом.
Для чего кривишь не душой, так ртом?
Или шпиль петровский повинен в том?
Скачет медный всадник со всех концов
света — вместо плотских, как мы, гонцов.
У Кюстина цоколь гниет с торцов.
Не забудь, Дмитрий, гробниц отцов.
В стольном граде Питере нам пора
разминуть навеки свою судьбу.
Белой ночью в Питере комара
не прихлопнешь, Дмитрий, на смуглом лбу.

Разведут мосты.
И рассевшись вокруг,
старики на новых чухонских пнях
скоротают менторский свой досуг
перебором баек о прежних днях...

Что доверишь мне из былых страстей
через годы — с т и г м у в скупой горсти?
Без попутных волн и тугих снастей
долетит ли, Дмитрий, тогда «прости»?

П и с ь м о

В этом городе, где у гранитных камней
задубела зернистая кожа
вдоль каналов, змеящихся меж пропилей
и палаццо чухонского дожа,
— я глядел на мерцающий воздух рябой,
овевающий маковки-митры,
и еще не знал тебя, друг дорогой
и державинский рыцарь, Дмитрий.

Да и ты еще горькую не пил тогда
то расхристанно, то виновато.
Только дул на больную ладонь иногда,
наяву ожидая стигмата.
И топорщилось русло торосами льдин
у твоей бесприютной постели,
потому как осталось от прежних годин
столько горечи в жилистом теле!

От натянутых встреч — до сырых сигарет
без витийств петербургского слога
— этот путь мы проделали в несколько лет
и, кажись, припозднились немного.
...Вспомяни же, Дмитрий, когда океан
под тобою разверзнется вчуже,

как затягивал певчие горла аркан
над озерной ахматовской стужей.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Е. Шварц

Послушно поземку к Петру
несет под копыта коня.
На парусном влажном ветру
ты, может быть, встретишь меня.

Державе держать недосуг
летучего змея границ.
И остовы новых фелюг
с корсетами императриц

заманчиво схожи. Прилип
к зеленому кубку с орлом
румяный детина. Полип
чухонской зимы за окном

в Европу оскалился тут,
когда от радений хлыща
старушечьи букли бегут
с подушек, как мыши пища.

...Где возле ростральных стволов
на стрелке пустая скамья
и парусный ветер свинцов
— ты, может быть, встретишь меня.

1979

* * *

нет для меня любви и смерти
и встреч неожиданно роковых
Е.Ш.

I.

Все так странно в том мире, где ты!
Как меж стенами в плесени узко.
Мал разбег у гранитного спуска
для твоей невесомой пяты...
Налетающий ветер винтом
выгибает непрочные спицы —
мы на палубе и под зонтом
проплываем палаццо Фелицы
и посольский салон Фикельмон, —
тень хозяйки и ныне, быть может,
когтерукий курчавый грифон
сладострастною шуткой тревожит.

Тише... тише... я тоже влюблен.

Сколь причудливо смешан в тебе
пафос истинной народоволки
с декаденческой тягой к гульбе
и цыганским зрачком из-под челки!
...После ливня немного знобит.
Запах тленца подмешан к обеду.
А сидящий в углу фаворит
молчалив, словно только уеду,

как он прыгнет с своих облаков,
подмахнув проряженною гривой,
прямо в твой паутинный альков
для преступной любви торопливой.

II.

Тебе, чья стопа на земле невесома,
шершавую блузу носить
и крепкую корку латинского тома
золой сигаретки кропить.
А дом запустить наподобие хлева,
кибиткой на полупути.
Чего ж... так надежней... глотни для сугрева
да чашечкой кофе крути.

И раб, поспешающий с новым романсом,
и в трансе литейная голь,
чей ветхий манжет отдает декадансом
и в брючинах порхает моль,
— все знают, сколь властно на полном развале
ты царствуешь тут. И свеча
в твоём канделябре сравнима едва ли
не с блестящим зверьком у плеча.

.

А где-то — я, стриженный как уголовник,
платком заматаю ладонь
и брошу еще не отцветший шиповник
в меж скал разведенный огонь.

1981

НА МОРЕ СРЕДЬ СОЛНЕЧНЫХ ДЮН...

На море среди солнечных дюн
песок колосится, желтея.
И крашенный в охру гальюн
скрипит, как сосновая рея.

Комарик, что первый Икар,
на волны планирует в зное.
Здесь будет хороший загар.
Все белое и голубое.

Здесь будет на смуглой руке
соленой волны отложение.
И наша душа вдалеке
увидит свое отраженье

— где собраны в точке одной
слепящие искры залива,
как будто трезубец стальной
Нептун приподнял торопливо.

1975

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

I.

Если ты меня первой окликнешь сама
с Элизийского, может так статься, холма,
я к тебе поспешу из бедлама.
В мире не воцерковлена, не крещена —
я взгляну тебе прямо в зрачки — прощена?
Прощена, но как прежде, упряма.

«Да и в чем было каяться мне, подскажи.
Разве в том, что твоей прикоснулась души
и царапнула, точно известку.
Воробьиною ночью пришла на балкон,
потому что подумала — если влюблен,
ну возьмешь, разомнешь папироску»...

Мглисто-розовых вспышек расщепленный свет.
Словно нашим сердцам уже тысяча лет,
только всё еще внове:
и волнистой сирени под окнами топь,
и окатных жемчужин тревожная дробь,
вдруг рассыпанных в слове.

II.

Я за эти-то годы привык бичевать,
по ничейным углам, где хочу, ночевать,
переслаивать явью мороку,
утекать из столицы на явочный свист
присносушного ветра, где берег скалист
западает в осоку.

Но когда я к тебе возвращался опять
и монетку попрытче спешил отыскать
на ступени вокзала,
все глядел на опухлость на милом лице,
на привет, искаженный в табачном кольце,
нам чего-то мешало.

...Каждый жест столь таинственно преображен,
словно я в ледящую глубь погружен
наподобье моллюска,
где среди под волной обитающих жен
шевелит студенистою мантией в тон
полудева-медузка.

III.

Ракушками пугливыми
в слизи подводных грив
дикий гранит с разрывами
густо покрыт в отлив.

Ежели распогодится,
Бог поглядит на нас:
в стиле «модерн» народницу
с влагой цыганских глаз

и на меня, готового
ладить строку к струне,
нищего, бестолкового
с телом в сухом огне.

Ты — в петроградском таборе
гонишь сирень с крыльца.
Я в это лето — на море
колко зарос с лица.

Пью, запрокинув голову,
под гоготок бичей,
узя глаза на олово,
темное меж лучей.

Все это — только длинная,
миг — и исчезла прочь,
первая воробьиная
наша с тобою ночь.

16.7.81

* * *

Глазницы Козлова-слепца
под рябью, как два озерца,
когда непогодит в июне.
И Батюшков весел с лица,
держаться решил до конца,
но мреет от ужаса втуне

в своей вологодской норе,
когда за окном в серебре
в еще не просохшей лагуне

сквозь чашу прибрежных раки
гороховый шут соловейка
кукушке лесной говорит
(рука, окропивясь, горит)
— что жизнь человека — копейка.

Рассохшийся русский амбир:
чернильница, книги, кумир
с мыском выпирающим срама.

Как важно на горе врагу
успеть умереть на бегу
среди бородинского хлама!

1978

СТИХИ О РУССКИХ ПОЭТАХ

Шум на шум, как брат на брата,
Восстает издалека.

О.М.

1.

Державин у Дельвига: «Где тут нужник?»
Но Дельвиг Державину не проводник.
И старец сиятельный в зале
арапскому отроку крикнул: виват!
А Пушкин бежал, словно был виноват,
и вскоре подвергся опале.

Надолго открытым остался вопрос,
который сквозь годы недаром оброс
величием русского чуда:
когда, отрешившись от тайн ремесла,
Некрасову утку подруга внесла
— как адрес студенчества — из ниоткуда.

2.

Светило за холмы садится,
и сумерки пришли домой,
где в тесном кабинете длится
у Баратынского запой.
Ждал вдохновенья как подарка,
и, открывая поставец,
он знает, что в судьбе помарка,
и выступает, как истец.

...Сороковые-золотые:
жандарма купол голубой,
и западники молодые
ведут беседы меж собой.
А здесь — где страх пытается душу
и у камина зябнет Лель,
Настасья, приготовьте мужу
на узком канапе постель.

Чтоб не в Италии счастливой
он умирал, обманно-бодр,
а дома — с нежностью пугливой
спартанский омывая одр,
звезда над ярославским трактом
взошла судьбе наперерез,
покуда длинноклювый дактиль
ее не ухватил с небес.

3.

Старый мальчик Лермонтов оглулен кокоткою —
он пирог с опилками как с капустой съел.

На Кавказе лечат минеральной водкою,
и на лицах страждущих солнцепека мел.

Знамо, в высшем обществе новое волнение:
тлеет в мшистых зарослях Грушницкого скелет.
Посему готовится светопредставление,
панихида с музыкой и кордебалет.
В чаше остролиственной с красными гирляндами
прямо у источника жарят шашлыки.
Генерал, набывчившись, спорит с адъютантами —
кто начнет мазурку и с какой ноги.

Тише. Тише. Тише.

Маленькая Мери
уезжает с мамой, обманута вдвойне.
Пусть другие дамы на ее примере...

И никто не скачет на взмыленном коне.

4.

...Над наважденцем Бенедиктовым
всю ночь проплакал Аполлон.

В морозном сумраке реликтовом,
где в рамы врезан небосклон,
к окну слетелись снега голуби,
свалился с ветки воробей,
фрегат дрейфует в невской проруби,
и дует с Выборга борей.

В России сердце рано старится,
но мало кто так хочет жить.
Затем и Бенедиктов нравится,
что всем приходится служить.

Надвинь, чудак, на брови кепочку,
накинь засаленный бекеш,
а показалось небо в клеточку,
снежку холодного поешь.

Живем, а будто в землю жалкую
легли и тлеючи лежим,
припоминая дружбу с чаркою,
перчатку, розу, шейку жаркую
и николаевский режим.

5.

Нахлобучив на темя островерхую шляпу
и в костюме охотника цвета спаржи,
собирались на тягу.

А внизу по этапу
бурлаки на веревке тянут тушу баржи.
Это стон или песня?

С крутого обрыва,
обдираясь о камни, как не броситься вниз?
Приземлился удачно. Вскочил торопливо
и, раздвинув кустарник, задрожал, как Улисс.
Бурлаки отдыхали.

Вскипала ушица.
Шоколадные спины... Холстяные порты...
Он глядел сладострастно
в задубелые лица,
в обожженные мутной ушицею рты.

...Стали годы подобны игральной монете,
на чужие купоны похожи века,
но не раз раздавались в его кабинете
то бессильные стоны,

то удар кулака.

Вот в такие минуты

господа нигилисты
приходились, должно быть, ему по нутру
(петербургские ночи чересчур серебристы)
— и, стуча сапогами,

звали Русь к топору.

...Сколько б каждый сезон ни стреляли бекасов,
ни дарили нарядов Панаевой г-же,
завсегда оставались

товарищ Некрасов
верным Музе печали и гнева в душе!

6.

Фет с Тургеневым на бричке
проезжают по лесам,
где глухарь несет яички,
в чаше рыжие лисички,
серый заяц сам с усам.

Попадается коряга,
матерится мужичок.
Говорят, что будет тяга.
Вынь-ка, братец, сундучок.

Разноцветные наливки,
сочный ростбиф да лучок,
и на них косящей сивки
кровью налитый зрачок.

Ишь, раскаркалась, кликуша,
не дает покушать — кыш!
Заряжай ружье, Ванюша,
доставай, Афоня, пыж!

Небеса подобны слитку.
Расписались Надсон, Мей...
И на черный гриб улитку
ветром сбросило с ветвей.

7.

Соком клюквенным из каверн
запятнало лепной модерн.
Вот тогда и пришел гуртом
рыжий Фофанов в желтый дом.

На Арбате витраж потух.
В бабьем свитере Пленный Дух.
Корка хлеба да миски бряк.
На погосте сытней — чем так!

И когда Азраил-комендант
Императора и инфант
души вывел в иной предел,
нам оставив угли да мел,

мы не плакали — нету глаз.
Вместо рта — потаенный лаз.
Вместо лиры — горбатый сук.
Четвереньки — заместо рук.

8.

Полночь кажется нерезкой,
и кренится потолок.
Потому за занавеской
притаился пьяный Блок.

Наши окна без замазки,
так гуляет ветерок.
Из-под черной полумаски
ухмыльнулся пьяный Блок.

Знать, разбойников не сорок,
а д в е н а д ц а т ь — видит Бог!
И Али-Баба не морок,
а всего лишь пьяный Блок.

Но когда в горбыль горбушки
волком впился русский Рок,
нас и вас спасает Пушкин.

Ваша правда, мертвый Блок.

1977

ЭТЮД №2

...Вернемся на стрелку — ко львам,
на темный от листьев Елагин,
когда колыхаются там
лоскутные пестрые флаги
на мачтах спортивных галер
в ракитовых бухтах в июле,
дразня сквознячком на манер
чекистской куражистой пули.
И метит — сквозь смерть — наугад
кузминская тень в гомосеки,
когда изумрудный закат
сурьмит по-египетски веки.

1979

* * *

В кренящейся башне ночные раденья,
кадреж Коломбины с порога
для нас вожденнее лжевдохновенья
голодного позднего Блока.

Да только одним они мазаны миром,
одна в них мерцает монада.
С полуночным бледно-зеленым эфиром
они породнились. Не надо,

не надо ни пышной италии в храме,
ни голого мрамора в чаше,
ни неба такого, как в «Пиковой даме» —
все это мертво и щемяще.

(Мы долго гуляли с тобою у стрелки
и оба не шли на уступки.
И пялились жадно советские клерки
на рубчик вельветовой юбки.)

...И спорили с Лазарем пятнами тлена
кумиры в садах и на крыше.
И алчно взмывала балтийская пена
все выше,

и выше,

и выше.

ВОСЬМИСТИШИЯ В СТИЛЕ RETRO

Не мирового ль там хаоса
Забормотало колесо?
А.Б.

Зеленое стекло с коричневым родные,
то ярко светятся, то дотемна густые.
Дебошного купца лихач гулять пронес,
оставя на снегу дымящийся навоз.
И шубке искристой фигура кавалера
чего грассирует, расслышать не берусь:
— Недальновидная поклонница-химера,
кончай жеманничать! Наутро рухнет Русь.

*

Худышку Рубинштейн с дарами рудников,
чей жалобный крестец так вывернул Серов,
что бедному купцу не видно даже сисек,
и то, что большевик на этом пламя высек
и отправляется скорее на вокзал
перекантовывать купоны за границу,
— румяный фараон в одно не увязал,
куруруя перрон, похожий на теплицу.

*

Дионисийствует в салоне символист.
Под маской снежною — сермяжная Расея.
На потных жеребцах морозец серебрист.
И жирные самцы висят у Елисея.

...Душистая волна оранжевых волос
так туго стянута подругою на совесть,
что удлиняет ей по-гоголевски нос.
И тянет перечесть таинственную повесть.

*

Знакомка давняя! Рубцы твоих каверн
едва ли зажили. Зачем тебе Петрополь,
где выгибается русалочий модерн,
сжимающий в стеблях фрегат или акрополь.
На шкуре медведя промялся след стопы.
О блюдечко звенит, плескаясь, чашка чаю.
От красноренточной спрессованной толпы
я только побежал... И вдруг тебя встречаю.

23.12.78

* * *

Е. Ш.

Мы опять с тобой вместе в норе
тешим байками праздную душу.
Слишком слякотна мгла на дворе —
развезло, не похоже на сушу.

За окном налетел и оглох
ветер, темные ветки качая.
Твоя кофточка в белый горох
слишком ветхая, слишком родная.

И тяжелая брошь на груди:
ловко камушки вправлены в соты.
Улыбнись. Отвернись. Награди.
Мы с тобой влюблены, как сироты.

...Где-то лев загребает кривой
лапой в волны катящийся глобус.
Финн бодучий вперед головой
залезает в пурпурный автобус

и в отрубе плывет за рубеж,
знамо, не для диверсии сброшен.
...Все с твоих допотопных одежд
снится мне — от каймы до горошин.

1980

ТАМ ЗА ОСТРОВАМИ...

1.

...Там за островами сердце дышит
с каждым днем слышней.
Изумрудную листву колышет
ветер тем сильней.
Загорается над Черной речкой
красная пасхальная свеча.
Но табачное колечко
развихряется у твоего плеча.

На столе летучие бумаги
и заветная латынь
от стакана драгоценной влаги
погрузились в синь.

Не проникнуть солнцу и ненастью
в полутьму, где ты вольна.
Только вена на твоём запястье
выдает, как ты сильна

той — еще елабужскою силой,
что ведет петлю.
Как лампаду над пустой могилой,
я тебя люблю.

...Чем неугасимей бессердечье,
тем необратимей миг,
на который к твоему предплечью
я неисцеляемо приник.

2.

Черносливовые волны
переполненной Невы,
отчего вы так покорны
и чему покорны вы?

Раз в закатный час Пальмиры,
в час Пальмиры роковой
в полутьме пустой квартиры
Кузмину явился б о у.

На диванную обойку
с пришлеца стекает слизь.
Во фланелевую тройку
раки черные впились.

Териокской чайки крики
по площадкам
разнеслись.

Черносливовая пена
взбудораженной волны.
Из-за двери запах тлена,
грима, юности, весны.

И коток
на майской льдине
у форелевой сосны.

3.

Возле виллы Рóде, не то Родé,
аварийной виллы, где все возможно,
где сам Гришка бил у гетер биде,
— мы гуляли неосторожно.

Там, казалось, призраки зажились,
даже не замечая это.

Ты была в панаме и юбке из
бархатисто-складчатого вельвета.

Разгоралась зелень, глаза рябя.
Голоса терялись в грачином гаме.
Так боялся я, что, обняв тебя,
превращу тебя в драгоценный камень,

в чьей прозрачной тверди ища исход,
будет биться сердце твое, родная,
как сама форель в териокский лед,
изумрудный лед середины мая.

Сigaretной гильзки у губ огонь.
Под глазами тень соловьиных крылок.
Положи, как ночью, свою ладонь,
шевелия перстами, на мой затылок.

Знать, нашелся лишний глоток на дне,
раз напомнил тающий смех о стае
птах, вернувшихся по весне.

Только чтобы впредь не казалось мне,
что едва нашел — как уже теряю.

23.5.79

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Алене Спициной

*Одно ловлю я в этом мире:
толкающий струну на лире,
твой выдох на лету.*

I.

Во мгле, во мгле
и карты старой вереск,
и серый горностай.
Я напишу — ты не поверишь,
но так и знай
у стрельчатого у окошка
в своей норе:
я раскусил, что возле брошки
щелчок средневековой блошки
лишь х о д в твоей игре.

II.

У глобуса отлив моллюска,
он под пятой.
Как гулко выстелен и узко
брус мостовой.
К тебе в покой при бледном свете
в тревожных облаках,

как гондольер, по блестящей Лете
вплыву в малиновом берете,
с веслом в руках.

III.

Убор, зачес, твои привычки,
унылый друг,
на лекции в анатомичке
я вспомнил вдруг.
Ты говоришь: «Любовь нелепа,
вся жизнь в кругу
комедиантского вертепа.
И я с тобой под сводом sklepa
обняться не смогу».

IV.

Что человек! Мешочек сердца,
наполненный слегка,
что схоже со стручками перца
издалека.
Пока освобождает гриву
от гребня для забав
любимая, подобна диву,
он выпрямляет перспективу,
как костоправ.

V.

Есть на Востоке невеселом,
где мор и глад,
вкруг обнесенный частоколом
парадный град.

В парчовом рубище до пяток
косматый царь
сосет медвежий мед из кадок
и любит, чтоб блюла порядок
любая тварь.

VI.

Но даже там, где пусты кроны,
поверхность волн тверда,
есть жар Креста и культ Мадонны.
 Не веришь? Да!
И в этот час у аналая
в воздушном молоке
вот так же блестя смотрят двое
(как тяжело молиться стоя!)
 — рука в руке.

VII.

...А помнишь, как читала древних
 лишь нам двоим?
Дух виноделен из деревни
 и вместе с ним
тяжеловоз копытом клацал
 навстречу нам —
в фургоне ехали паяцы.
И лучше понимался Тацит
под их богемный гам.

VIII.

Средь бела дня огонь из тучи
и мощный гром
над пирогом навозной кучи
с зеркальным дном.
Что значит — «малые голландцы»?
Тут в каждом — кряж.
А рядом Фландрия: под глянцем
задастые бабцы с румянцем...
Вот это вернисаж!

IX.

Не пяточки, клыки и скальпы
из лавки мясника,
не ослепительные Альпы
в таирах ледника,
не бутафорская перчатка
с куском германских царств,
не вшитая в нее свинчатка,
не глист в кишке миропорядка,
не знавшего лекарств,

X.

не Львиного удары Сердца
у жарких берегов,
не на крестах далеких тельца
еретиков,

— а просто в слюдяные слитки
спрессован прах.
Ты — по-осеннему — в накидке
с зверьком невиданным и прытким
на ласковых руках.

сентябрь 81

ПИСЬМО

Прощай, письмо любви
Пушкин

1.

Бесстрашно надорвав простое письмецо,
над штемпелем соображая,
я сразу не узнал родимое лицо
и прочитал — что ты чужая.
Чужая, не моя, а я жестокосерд,
что тереблю напрасно снова.
Из равнодушных рук я принял твой конверт
и не могу понять ни слова.

...Сбежавший в сутолке двадцатилетний чех,
хипповый пасынок славянства,
на танки лающий мечтатель-пустобрех,
зане французское гражданство,
в Париже шелковым почувствовав надлом,
нашел тебя со всей поклажей
в дубовом сумраке колюче-золотом...

.

А если встретимся в аду берестяном,
что скажут ваши души — нашей?

Всем телом жалостным прильнув к нему во сне,
вдруг на мгновенье онемеешь
и перекинешься беспамятно ко мне,
как это только *ты* умеешь.

2.

Замужем, замужем, замужем, за...

Так не показывайся на глаза,
не поводи конопатым плечом,
не говори обессиленным ртом.

Ты мне чужая, чужая, допреж
наших объятий один из невеж —
ленточка в космах да автохарп,
слезы о Чехии — весь его скарб,
встретил тебя у Булонских лесов
в желтом свечении ржавых дубов.

.

Ты приходи ко мне за полночь в сны
от замороженной пражской весны
в переяславское лето беречь
нашу родную славянскую речь.

3.

Американочка в Париже.
Химера каменная в нише,
дрожа боками, скалит рот.
Молчи, готический урод!

Любимая чужда Европе,
соломинке и льду в сиропе,
где левизной страдает мэр,
простивший Прагу, например.

Еще он вспомнит эти штучки,
когда овчарка гавкнет: Жак!
И на железные колючки
наткнется клетчатый пиджак.

...Плыви ж и ты ко мне в Россию,
приоткрывая алый клюв,
лебедкой выгибая выю
и лапки в золото обув.

4.

...Встречались у подножья трона
империи былой.

Ни ломких сургучей закона,
ни адреса, ни телефона
тебя самой...

А показалось — все возможно,
в лице горел огонь,
когда ты о стекло таможни
расплющила ладонь.

Шла почта с флорою обоих полушарий,
с разбегом верных слов...

Но вдруг рассыпался, что ветхий шелк, гербарий
ее листов.

Вот так, любимая!

Шлагбаумик конверта,
штандарт приневских крон,
лазурь дворцовую, моряцкий выхлоп ветра
на стрелке у колонн,
и то прощальное бессонных глаз черненье,
которых не забыть,
смывает паводок имперского забвенья,
несясь по Балтике Атлантику травить.

1976

ДИПТИХ

I.

Снова снится конверт с долгожданным письмом,
и сегодня душистым с угла,
невесомо с ладони шепнувший о том,
что вся вязь — к полстраничке стекла.
И минутная фотка: с подругой в плаще
и порочными тучками глаз
у готической бледно-лиловой клешни...
Ну так что же там было у вас?

Лучше б ты рассказала тогда, например,
сколь коварно оплел паучок
мускулистых грифонов и гибких химер,
закативших под веко зрачок,
в чьей резной роговице хранится Париж —
неприступный для черни альков,
до того — как посыпался с розовых крыш,
словно ты и теперь перед сном мельтешишь,
дождь прописанных мэтром мазков.

II.

В запотевшей плетенке вина кислотца
расточает такое амбре,
что в теньке сизоватом мясистый с лица
седовласый папаша Мегрэ
не спускает с нее пронизательных глаз.
Словно я намошенничал впрок
и, хотя еще утро, мне будет сейчас
тут преподан жестокий урок.

...Я гляжу на с жемчужным отливом канат,
на мазутный размыв на песке.
Господин комиссар, я и впрямь виноват,
эту гавань стянув у Марке.
Но уже без меня заселил ее вдруг
и моллюск у осклизлой стены,
и тревожащий смех *откровенных* подруг,
выходящих из палой волны.

28.7.81

ПЕРЕД СМОЛЬНЫМ

литературная композиция

Ал.Семенову

Лазурный Растрелли задумал собор
превыше, чем туча и птица.
Огромные суммы ему не в укор,
столь ласково императрица
взирает на бархат его панталон,
в паху округлившийся в складку,
как в самую белую ночь небосклон
над берегом, давшим усадку.
С чертежной линейкой дородный посол
шуршащего лаврами зноя
вдыхает балтийской селедки засол,
над хлябями дерзостно стоя.

*

Святое писание знать на зубок,
вставать по звонку спозаранок...
Сколь много секретов хранит между строк
синодик левицких смолянок!
Бывало, сюда приходил Государь,
задумав придворную смену.
Отсюда — как жемчуг, запрятанный в ларь,
сам Тютчев похитил Елену.
Вослед им крылатые шерились львы,
чадили ростральные плоски...
Но в нашей чухонской Пальмире, увы,
века похотливы, как кошки.

*

Откуда-то женский взялся батальон,
жужжат пулеметные осы.
С игривым смиреньем присевши на трон,
сивушно гогочут матросы.
Что куру, двуглавого ловят орла,
из залы летящего в залу
с огнем, вырывающимся из горла
подобно змеиному жалу.
Инфант решено под машинку остричь
и выдать колючие блузки.
Как живо картавит Владимир Ильич
и тоже могёт по-французски!

*

Обкорнаны кроны окрестных дерев
и пышно шуршат лимузины.
Со снежно-кипучей Невы нараспев
задуло в чиновные спины.
И что-то свистит над моей головой,
как после хорошей гулянки.
Мы жертвою пали в борьбе роковой
во славу усов и оспянки.
Недаром ежовцы гребут что ни день
и крупных, и тех, кто помельче.
А Кирова ширококостная тень
лежит в окровавленном френче.

*

Февральских небес акварельный свинец.
И ежели броситься с моста
на льдину — как враз и должник и истец —
она оседлается просто.

Сжимай цепенеющей властно рукой
ее шелестящую холку,
пришпоривай черной разбухшей ногой
подводную крепкую корку
и, если получится, высадись там,
куда не попасть из ОВИР'а,
и вышли на глянцевых карточках нам
ландшафты загробного мира.

*

Никак не забуду: денек хоть куда,
распаренный зноем свекольным
под кайфом я двигался не без труда
и вижу — пустырь перед Смольным.
Тогда я почувствовал жженье в паху
и смело шагнул за кустарник.
Закаркали черные хлопья вверху,
как будто приехал пожарник.
Далекое лето... свобода... лафа...
сознания разъятые звенья...
И нежно ложились на сердце слова
грядущего стихотворенья.

1981

ВСПЛЕСК

*Пегая чайка на темной волне.
Ив на рогатинах копны в огне
смешаны с первым снежком.
В желтом автобусе двери крыло
сжалось и, лязгнув, на место легло.
Мы погуляем пешком.*

I.

Как бронзово зелен
и вязок листьев всплеск!
Как метко нацелен
луча последний блеск
из облачной бездны,
в которой холода.
Вот так безвозмездно
и ты глядишь туда,
где будущей встречи
уже родился час.
И в сон русской речи
все время клонит нас,
в которой без подсказки
уловлен каждый звук
и зыбкою ряской
дождя подернут вдруг.
Там лучшая доля,
где гласная — твоя.
Сквозную их неволю
и буду помнить я.

II.

Темнеющая грива
морской травы густа
вдоль линии залива,
когда она пуста —
ни всплеска, ни пары
влюбленной впереди.
Лишь громче удары
незнамо в чьей груди.
Да насаждают чайки
гурьбою на гранит
и им бросает пайки
скупые инвалид
в китайском макинтоше,
потертом по углам.
Как мало жизни, Боже!
ты оставляешь нам
— уже сходящим с круга,
хоть и на разный лад.
И тьма не так упруга,
как десять лет назад.

1981

* * *

Целый день по стеклу барабанили капли, струились,
потому и взглянуть за окно мы с тобою ленились,
а аукались так — чтобы было нежно́ и щемяще,
в первом тронутой тленом российской словесности
чаше.

С пожелтевшего фото глядели на нас, как с порога,
в мутном кипене астры над клювом у лебеда Блока,
хладнокровно считавшего сыпкие шпильки у милой,
но разлюбленной и —

сумасшедшего перед могилой.

Только так он и вырвался было из нашего ада,
прободав оперение пиками Летнего сада,
устремляясь туда, оторвавшись от стана ли, стада,
возвращаться откуда уже и нельзя и не надо.

...Безопасно ли в сумерки нам хорониться друг
с другом? —
с маскировкой плотной на лампе, бликующей кругом
от стены к потолку с облупившейся блочной побелкой
и разбитой «спидолы» то музыкой, то перестрелкой,
под которую мы о замышленном шепчем побеге
из разросшейся зоны

на тряской воздушной телеге.

С последним Солнцем

* * *

Даше

Сквознячок зарябил
под еще не открытыми веками,
словно их приоткрыл
на ветру над спящими реками,
громоздящими льды
возле ветел среди необычного
изобилья воды,
голубого и светло-горчичного.

Словно эти места,
уцелевшие после Распятия,
омывают с креста
золотые ручьи водосвятия.

...Есть в зобу у скворца
масляничная юга горошина.
У меня же с лица
пара новых морщин перекошена.
Пока он жировал
далеко за молочными реками,
сквознячок зимовал
глубоко под закрытыми веками.

3.4.81, Звенигород

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Снег поскрипывает нарами.
На ветру лицо горит.
Русь под новыми татарами
крепко, крепко, крепко спит.

Под татарами, под пытками
говорливей немота.
За скрипучими калитками
золотая мерзлота.

Пахнет углями угарными
топка честного труда.
Русь под новыми татарами
спит до Страшного Суда.

...Я тогда пред Богом выступлю,
попрошусь к Нему на дно,
красный путь слезами выстелю,
чтобы с нею заодно.

1979

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Прозрачная яма со стенами тверди топаза
в мерлушковых тучах открылась теперь до отказа.

Там солнышко наше, которое малость поярче
земли заснежённой, которая малость пожарче.

В кудели мороза запутались ветви опушки,
ее веретена, станки, челноки и коклюшки.

Все слаще и тише воркует сосна-голубица,
на свежем ветру задубела ее власяница.

...Вот здесь бы лежал я под цоканье злого отряда,
тачанкой отличной лишь от панургова стада,

лицом костенея и снег собирая в охалку
бессильной рукою, как гнусную красную тряпку.

1979

* * *

Добровольческий спелый
обреченный снежок.
Знать, у косточки белой
перед нами должок.

Хорошо ей на юге,
где любой есаул
на рыбацкой фелюге
доберется в Стамбул.

Там на горках Афона
с огурец абрикос,
и у синего лона
круглый год сенокос.

...Нам чужого не надо.
Мы пойдем напрямиком
по следам продотряда
прямо в Иродов дом.

Покартавь с ходоками,
Ирод, как на духу.
Мы своими руками
из тебя требуху

.

В разоренные ясли
Вифлеемской ночи

только иней на прясле
опускает лучи.

Надо пасть на колени,
чтоб к намоленной меди Креста
где-нибудь на Мезени
примерзали уста.

1979

* * *

г. Т у т а е в
(б ы в ш. Р о м а н о в - Б о р и с о г л е б с к),
н а В о л г е...

I.

На отшибе за красным лабазом
тут — в медвежьем углу,
солнце смотрит в замороженным глазом
в голубиную мглу.
Волга вся — ледяные торосы.
На ветру оглянись.
От мороза в глазах настоящие слезы...
Подневольная Русь!
— где соборные окна, ржавея в железах,
пропускают метель
и тутаевских головорезов
запредельную трель.

II.

Отстрелялся Некрасов, бурлацкой ушицы
похлебал на веку.
А теперь что за дичь — воробьи да синицы
в голубином снегу.
Да буксир по весне убегает скорее.
Большевицкая власть
о мятеж ярославцев, дуря и совея,
окровавила пасть.

И теперь отдыхает в морозной постели
у крестьянских лачуг.
Не разбудят ее запредельные трели
колченогих пьянчуг.

III.

Крючья барок... закатов бурлацкая сага...
астраханский калым...
Уж давно распрявился в земле бедолага.
Только розовый дым
над избой от воздушных колеблется шибок...
Водянистый чаёк.
Да в рубиновой чашечке, ранен и зыбок,
у икон огонек.
Еле видно повязку на распятом теле,
Богородичный лик.
Да к оконцу зеленые травы метели
прирастают впритык.

IV.

...Что косишься на черствый ломоть, привереда?
Отвечай по суду.
Где-то тут твоего и ограбили деда
в тридцать пятом году.
Расспросить бы хозяйку про это убийство,
кто гулял в эти дни.
Да боюсь, что повсюду одно кровопийство
и убийцы — одни.
Больно пресен замес у ее каравая,
больно соль солона.
И бесшумное небо до дна освещая,
индевет луна.

V.

...Да и сколько с тех пор испеклось, затерялось
в голубиных снегах!

Может быть, на земле никого не осталось.

На родных берегах
только я да старуха с сухими руками,
потускневшим кольцом.

Вот и будем чаевничать с нею веками,
молодея лицом,

коротая деньки, как во время осады
этих гибельных мест,

— да глядеть на багряные стигмы лампы,
окаймившие Крест.

11.2.78

* * *

Молочко осиное.
Ветер солодящ.
Смоляная синяя
тьмь сосновых чащ.

На тропе петляющей
шишки да песок.
Парохода лающий
тающий свисток.

С мором на юродивых,
странников, заик —
как увидишь Родины
потаенный лик?

В дуплах пня сохатого
у чужой казны?
В Волге от Саратова
до болот Шексны?

На могильной яме ли,
где бурьян вырос?
В размозженном храме ли,
где слепой Христос?

Спи, земля лесистая,
вправленная в твердь...
Жертвенная чистая
ласковая смерть!

1978

* * *

У волжского домика старая ива стоит.
Кудлатая туча затмение солнцу сулит.

И падают капли на drankу, на ветви, в траву,
и ветер, играя, опять приоткрыл синеву.

Когда пацаном я в сенях полутемных робел,
на солнце валялся, вокруг себя слепо глядел,

к нам бакенщик старый пришел, громыхая ведром,
где белая стерлядь дышала боками и ртом.

...Теперь я не тот. И вокруг себя зорко гляжу,
все вижу, все знаю, искусные речи вяжу.

Знать, скоро на веки положат тяжелый медяк.
И бакенщик старый введет меня в ивовый мрак.

1976

ЦИРК

Клоун ногой загребаёт опилки,
чем вызывает смешки и ухмылки.
Канатоходец идет бичевой,
крепко от жизни устав кочевой.
В ветхом брезенте залатана дырка
— вот атрибуты проезжего цирка.
Я его в детстве с отцом посещал.
Цирк переехал, а я обнищал.

В пятидесятые жалкие годы
он нам показывал фокус свободы.
Рядом топорщились брючины-клеш
и прикрывающий их макинтош.
Только теперь понимаю глубоко,
как было сиро тогда и убого:
публика, купол, брезентовый гул...

Я свою жизнь пополам перегнул.

1969

ПЕЙЗАЖ

Колокольни обожженный ствол,
без надежд торжественно несущий
ржавый крест, как будто здесь — престол,
а не просто лопухи да куши
ветром раздвигаемых ветвей,
связанных послениюльской клятвой.
И опять повеяло с полей
чем-то средним меж косьбой и жатвой.

А внизу — обрыва низкий пласт.
И под белой облачною кроной
вечности оставленный балласт
на воде качается зеленой.

1970

СПАС

Ю.Зубову

Полуразрушенной церкви портал
днем над кладбищем в тумане витал,
преображался, и таял, и звал
на покаяние прямо сейчас.
Это село называется Спас.
Сладостно душам, но страшно — за нас.

Тут, пробираясь меж диких могил,
старый приятель мне так говорил
как-то в минувшее лето:
— Я не крупца с небесных полей,
знаешь ли, тело прабабки моей
здесь похоронено где-то.

1970

АВГУСТ 1959 ГОДА

Под тесаной мачтой с побелкой пожухлой
пацан туполицый с оскоминой смуглой
— в шеренге слегка рахитичных детей,
что ждут от затейника новых затей.
(«У мальчика в лагере полная чаша»:
какао, яичко, овсяная каша,
пахучая столь, что в окрестном бору
совсем забивает хвою и кору.)

А этот затейник — то майка, то китель,
в штанах тренировочных змей-искуситель,
немного циничен, слегка горбонос,
нет-нет, да потрогает ежик волос...
И чтоб отомстить за былые несчастья,
отдайтесь ему, медсестра из санчасти,
и после линейки — спешите в лесок,
где с шишками смешан холодный песок.

1970

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЛГЕ

Прибрежные доли в сангине заката,
в смуглеющей зыби река...
Послушай, как просится сердце куда-то
во плавкое — под облака!

Схватил бы я в цепкие руки гитару,
напенил цимлянским бадью
и гнал бы всю ночь из Симбирска в Самару
под парусом крепким ладью.

Так много призыва в заутреннем звоне,
что хочется прямо сейчас,
прощаясь, прижать к задубелой ладони
холодный персидский атлас

и видеть песок, засиненный зарею,
где чаек разносится крик
и пахнет смолистой лиловой корою
медвежьих углов патерик.

О Волга — всегда твоему благолепию
сродни атаманская статья.
Убей меня, Волга, мазутною цепью
и выброси на берег спать.

1978

В ОБЛОМОВКЕ

Memento mori!

1.

Египет муравьиных куч.
И петела истошный крик
в опаловую толщу туч
с земли проник.

И колокольни ствол шербат,
заросший ветками, травой,
не станет наново богат,
благовестя над головой.

Да ветерок со всех сторон
над тиной барского пруда.
Ив неохватных — в никуда
трухляво-бархатный наклон.

Замедленный прощальный взмах
вослед:

— Надолго?

— Боже мой!

И в бесхребетной жизни — страх
в крапивный зной.

2.

У спуска в русалочью гать
трухлявые дупла пусты.
Нам нечего больше желать.
Зачем просыпаешься ты?

Иль, думаешь, русскую хмарь
спугнет прискакавший курьер:
«Обломова ждет Государь
для новых реформ», например?

Ленивцам легко умирать,
им смерть не докучливый гость.
Авось и сумеет достать
кувшинку короткая трость...

Как туго затянута нить
(Зачем вы торопите нас?)
Нам н е к у д а больше спешить)
— меж тем, что потом и сейчас.

1978

* * *

Белогривый июль над взволнованной Волгой.
Колокольня с трехгранной позлащенной иголкой.
Светловерхая пристань с торговым флажком,
где медвежий загревок со щучьим душком.
...А вчера мудрецы паровую машину
заложили в баржу, испугав Катерину.
И прибой, побежав по мазутным доскам,
наподмешивал синих моллюсков к пескам.

Драгоценность из жизни ушедшего детства.
Неухоженный холмик от деда в наследство
на погосте, одевшем в лопух да бурьян
среднерусские кости купцов да мещан.
...Поскользнуться б в бору на сосновой игле
меж лиловых стволов в муравьиной смоле.
А не комом нагуливать в горле кадык,
помяная Некрасова длинный язык.

1978

* * *

Памяти Светланы Басковой

Крыжовника кленовые листочки
красны и серебристы от дождя.
Мне видится открытая вражда
в твоей любви, лишенной оболочки.

В своем доме на кожаный лежак
приляжет барин, молодой и плотный.
Не заблудись в кистях рябины черноплодной,
когда тебе я больше не вожак!

Не забреди в соседские края,
сентябрьских роз еще остры колючки...
Как холодны твои лицо и ручки,
крестьянка родовитая моя!

1970

* * *

Бабье лето за оградой,
легкий облака мазок.
К дому с ветхой колоннадой
подкатил, гремя, возок.
...Ловко прыгнув с колымаги,
секретарь небесных сфер
жжет до вечера бумаги,
в щепки рубит секретер.

Идут дни. Убрали нивы.
И воспламенился лес.
Жги и ты свои архивы,
пей наливку, ешь дюшес.
Одиночеством прогулки
старых ран не бери,
вскрой ножом свои шкатулки,
вновь в окошко погляди.

Дневники бывшего лета,
стлевший ирис голубой,
испаряясь, встретят где-то
листопада дым парной...

1970

ЗАПОВЕДНИК

В эдемском подлеске медвежьих углов
рябина не мельче китайки.
Пестро оперение филинов, сов
и светло-коричневой чайки
над рябью озерной, когда кто-нибудь
заметит в разгаре рыбалки
в ракитовых чашах тяжелую грудь,
холеную спину русалки
и, ежась, уключиной скрипнет в пазу.
Послышатся тихие всплески.
И думая, что ухватил стрекозу,
с блеснувшего кончика лески
счастливо сорвавшись, уходит домой
в зеленую толщу подлещик...

И чудится — с берега кличет «родной»
свою крепостную помещик.

1979

РОДНАЯ РЕЧЬ

Ел. Игнатовой

1.

Синим сиянием полнится лес.
Медленно падают звезды с небес.

Спят деревенский журавль и ушат,
снега подушки на крышах лежат.

Утром из труб потянулись дымки.
Иней на стеклах — луга и венки.

Лось, из копны ухвативший сенцо.
Волк, ямщику облизавший лицо, —

что-то из детства — из Речи Родной.
Чу, Алексей Константинович Толстой!

2.

Что-то из детства — из Речи Родной.
Прямо под окнами снег голубой.

Вдоль седовласых кустов и коряг
мчит, возведенный Некрасовым в ранг,

старый топтыгин на облучке,
если возница сидит в кабачке.

3.

Выбрал упругую розгу в пучке
и отдувается на мужичке

ласковый барин, заметив мозоль
на страусиновой лапке борзой.

Пар чаепития. Тихий азарт
перед рядком перламутровых карт.

4.

Скучный уезд. Костяной бильярд.
Доктор, хватающий за бакенбард

важного искусствоведа жену.
Помню на стенке картинку одну

там, где все сыро и воздух нечист.
Где на троих закурил гимназист.

5.

Искры по ветру — курнул гимназист,
к шпалам прижался, слышался свист,

что-то друзья из сугроба кричат,
миг — и над ухом колеса стучат.

Меркнет багровый вдали огонек.
Русские мальчишки.... Сорван урок.

6.

Стёкла вагона — мороза роса,
леса завеса, небес образа.

Слезы под веками — щиплет, печет...
Это не задано! Это не в счет!

20.12.76

* * *

Помнишь — гусениц чуткий пушок,
шорох осени, яблочек мешок.

Как пасхальные свечи, красны
и смолисты огарки сосны.

Клекот сойки, дождя дребедень.
Золотые шары на плетень,
колосясь, повалились, как сноп.

Слышишь — Зверя тяжелый галоп.

То Антихрист на сытом коне
прыгнул наземь в свинцовом огне.

И теперь все равно — что бежать,
что в глубокой могиле лежать.

1976

* * *

Памяти Л.С.Соколовой

Этого домика нет. Только сад поредевший напротив,
да розоватый булыжник в проплешинах виден асфальта,
да воронье, как и прежде, обсело высокие кроны.

В бархатных вмятинах перекошились ступени.
Запах уборной и черного хода потемки.
Слева скрипучая лестница — «к Нюре»,
а прямо
дверь «к Рыкачевым», стареющим девам недобрым.

И разноцветный витраж уцелевшего чудом окошка,
и с червоточиной пробы за завтраком чайная ложка!

На огороде смородина, запах садовой малины
с белым кинжальчиком в сердце и кислые сливы.

Топится печь обливная, напротив — портрет Магдалины,
а перед нею свеча и подшивка разбухшая «Нивы».

...Или лото в перехваченном туго кисете,
ставим бочонки на цифры, закрытые в клетки.

А за окном в темноте уподобились Раю
заиндевелые ветви и звезд ледяная рассада...

Этого домика нету. Но верую и понимаю:
он достоянье не волжского — Божьего Града.

*

Божьего Града — затем и улыбки на лицах,
что во вселенной гуляют сомы и плотвицы.

Словно у лунки на льду огнедышащей Леты
спит рыболов — и подошвы его разогреты.

1976

* * *

По вишневым углам залоснился киот,
зеленеет в стаканчике масло.
Деревянный фасад наклонился вперед,
во дворе на защепках распяли испод.
Опустело в садах и погасло.

Белый мостик над тиной напрасно повис,
по нему ты напрасно проходишь
и глядишь на лягушечьи заводи вниз...
Никого из земли не воротишь.
И не выйдет родная знакомая тень
угостить леденцом из кармана,
потому приближаюсь я сам что ни день
к этой тени в воротцах чулана.

Но своим чередом опадает листва,
пригодились замазка и вата.
Серебристо-скрипучий накат Рождества,
разгоревшейся вербы зайчата...
И смуглей скорлупы от пасхальных яиц
за железной дорогой сараи.
И, конечно, кладбищенский маленький шпиц,
где срываются, каркая, стаи.

1975

* * *

В том краю, где моря Белого
заповедный слышен вздох,
где мокра морошка спелая
и горит багрянцем мох,

где потом Петра Баранова
у Секирного холма,
возвращая Богу заново,
бич зарезал задарма,

где водил я в осень лодочку,
запирал покрепче дверь
и в холодной келье водочку
пил, заросший, точно зверь,

— что теперь в том мире деется?
Верно, всё как было встарь!
Водка-дрянь в порту имеется,
часто ленится почтарь.

И душа моя — в то белое
искрометное кольцо
опускает задубелое
постаревшее лицо.

1977

ДИПТИХ

1.

По настилу из мягкого мха
скорым шагом я вышел — к поморью.
Сталь морская не знает греха.
Сеет дождь по лесному подворью.
За осокой на черном бревне
папироской подмокшей балуюсь.
От черники все пальцы вчерне.
Чайка вскрикнула на валуне...
Я еще и люблю и волнуюсь.

1972

2.

Осока по пояс. Болотная хлябь.
Осеннего неба холщевая рябь
распорота острым лучом до конца
и сразу защита иглой из свинца.
Еще с полминуты мы видим стежки,
чуть розовы их бахрома, гребешки,
но так молода, верно, ткань в небесах,
что шрам заживает на наших глазах.

Не то наше сердце и наша душа:
не пользуя нить и иголку,
они выздоравливают не спеша.
Их раны открыты подолгу.

1975

СВ.-ТРОИЦКИЙ СКИТ НА ОСТРОВЕ АНЗЕР

С о л о в к и

1.

...С веток лист сыпается, шепча,
что привал совсем неподалеку.
Скину лямку с ватного плеча
и войду в прозрачную осоку.
Сумерек светящийся просвет.
Котелок, наполненный брусникой.
Кирпичом заваленный подклет
в основаньи колокольни дикой.

2.

Еще везде следы тоски,
еще торчит конец доски,
еще здесь стен никто не белит.
Везде решетки и глазки,
еще рука похлебку делит,
но вот дадут сигнал для сна.
Сырая тьма укроет зека:
за что боролись, старина?
Держись, не зябни, спи, калека!

3.

У Троицкой губы морской
трещит огонь, сучок дымится,

и черный котелок мирской,
покачиваясь, кипятится.
Наполни шорохами ночь,
как будто те, кто здесь сидели,
кому уже нельзя помочь,
проснулись в братской колыбели.

4.

Светла, зеркальна гладь озер.
Туман поднялся слой за слоем.
Лес крылья хвойные простер
над нашим северным покоем.
Под сапогом сочится мох.
Тетерки стучаются лбами.
Здесь Крест воздвигся. Инок сох.
И слышен материнский вздох
корзины с белыми грибами.

5.

Нежно осыпается береза.
Утреннею полнятся росой
паутин прозрачные колеса.
Мох, лишайник розово-седой.
Утка в брызгах выпорхнет из глади
озера. И сразу звук затих.
Сколько влаги я увидел ради
глаз твоих счастливых и сухих!

октябрь 72

ТАТАРНИК

Татарник розов и лилов
у соловецких валунов,
покрытых пышной ржавью,
где морок спутан с явью.

Татарник, плоть мою возьми,
расстанемся друзьями.
О море Белое, греми
о валуны волнами!

Поведай, как пристал челнок,
как сделал шаг Савватий,
когда татарник, как щенок,
цеплялся за гиматий.

...Но в солодящий солнцем день
молчи про радость смерти
— когда встает за тенью тень
из соловецкой тверди.

1976

ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО...

V. T.

Плещеево озеро... Ботик Петра...
Я помню, мы встали с тобой в шесть утра:
песок не нагрелся еще у осоки.
Мы молоды были. Мы были жестоки.
Далекая жизнь! Золотая пора!
Вдали уже виделся абрис кремля —
в попутной машине летели к Ростову.
Как скученно строилась наша земля!
Как верили все православному слову!

В музее чернели Святые врата
из церкви, которую грабили дети.
Под девственной картой, где нет ни черта,
пылилась мотыга и рваные сети.
...А после — когда на большой сеновал
пустила старуха, шеколдой колдуя,
я долго, как помнится, не засыпал,
лежал неподвижно, себя согревал
— твою теплоту у забвенья воруя.

1972

КОНЬКИ

Борисоглеб Ростову брат.
В густом бору, что розы, шишки.
Имбирно-розовый закат
бросает блики в аккурат
в тетрадь хозяйского сынишки.
Пацан готов считать деньки,
когда мытарствам окончанье:
ему отец купил коньки,
но держит их покамест в тайне.

...Однажды, водочки хватив,
тот потащил меня в кладовку
и был со мной велеречив:
— Гляди, купил мальцу обновку!
Ножи прикручены винтом
к свиной блестящей черной коже.
— Но я их дам ему потом,
когда исправит неуд, рожа!

Сквозь иней смотрят звезд глазки
на двор, где голубятни пика,
на ветках лед пустил ростки.
Тропа скрипела, как мостки,
и полулаял пес заика.

1974

ВЕСНА ОСЕННЯЯ

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят
Т.

1.

В зазубринах кривая колокольня
сегодня, словно дерево, довольна —
лучится небо, кружатся грачи.
А там внизу — что не достать руками,
что скоро вкусными наполнится червями
— земля преображенная журчит.

Еще мрачнеет дальняя опушка,
но погодите, прилетит кукушка,
расправит дятел свой воротничок...

Лишь тот чудак, что тут прослыл поэтом,
сердечный холод сохранит и летом —
чтоб бил для нас хрустальный родничок.

2.

Всем существом шумит сосна.
Сова сидит в своей конторке.
Как шишка дряхлая вкусна
в тарелке снега на пригорке!

Вдали село, а за селом
давно один пустует дом.

Алкаш-крестьянин на досуге
в разгар уборки слышит там
метели вой и вьюги гам...

И поскорей бежит в испуге.

3.

Каурка кволая пасется у сарая.

Придет пора — засветятся луга,
заколятся столбики, ромашки,
крестьяне скинут мокрые рубашки,
из сенокоса выстроят стога.

То солнце печь, то дождь обильный литься,
то заморозки первые искриться
начнут с приходом предосенних дней...
Солома потеряет золотистость,
но вкус ее, но дивная душистость!
— в начальной силе уцелеют в ней.

4.

Постой — еще пора не миновала,
а ты уж смотришь в щели сеновала,
душистую вдыхаешь пустоту.

Опомнись, друг! К чему такая спешка?
Не вышел цвет, не вызрело орешка,
петух не нарушает глухоту.

Пускай сочтется рухнувший валежник,
на влажной сопке вырастет подснежник,
большая почка лопнет за спиной.

Пушай сперва обрадуются дети.
А уж потом и мы на этом свете
за миг весны заплатим головой.

1974

МАРТЕМЬЯНОВО

А. С.

Ветра зеленый шквал
ринулся и — пропал.
Майская ветка вьюжит,
словно опять зима.
И облаков кайма
осеребрилась вчуже.

Точно из погребца,
темный в отлив свинца
голубь в алтарной нише
крыльями зашуршит,
в сумраке зарядит,
вылетит в брешь на крыше.

Пестрый сухой помет.
Змеем сюда ползет
ладан с колхозной сотки.
Местная ребятня
спрашивает огня
и предлагает водки.

Как от гнилья в пруду
или огня в аду
идет мороз по коже...
Сколько уже годин
Ты здесь совсем один,
Нерукотворный Боже!

1978

ВЕЧЕР В ВОЛОГДЕ

Зеленые нити и струи листвы,
от теплого ветра колышетесь вы.

Безвольные ветви плакучих берез,
сквозь вас заходящее солнце зажглось.

И могут услышать желток и кумач
то ропот, то шепот, то возглас, то плач.

Мерцанье окладов мерещится тут,
как будто царицу на постриг ведут.

*

Горячей смолой разлилась по груди
тоска ожидания — что впереди?

Положат ли выей на свежий пенек,
как день голубенек, как черен денек!

Возьмут берегини ладью под уздцы,
надуют холстину бореи-певцы

и бодро пригонят живые сердца
к широким ступням Судии и Творца.

15.7.75

ЗОРИ

В темной кладке, у которой кашка,
подорожник, лопухи, ромашка,
— кованую дверцу отвори.

.

И на всем лежащий гладко, ровно
(как бывало при закланьи овна)
— золотозеркальный свет зари.

26.6.75, Кириллов

*

В глубокой траве незабудки растут,
упругий укропчик ромашки,
лилового клевера шишечки тут
и бело-зеленые кашки.

Здесь к деревцу щавеля лютик приник,
сошлись колокольчиков кубки,
и трубчатый дюдель настолько велик,
что хочется сделать зарубки.

Весь день, зазывая, над ними мели
ветра заозерного края...
А ночью в глубокой небесной щели
лежит серебро, ослепляя.

27.6.75, Ферапонтово

*

Над озером движима ветром гряда
открытых небес до отказа.
Здесь все первобытно. И даже вода
цвет в цвет — осетровое мясо.
То розово-желтую станет волна,
то в ней жемчугов переливы.
В ковчежце ладоней она холодна...
А что же в глубинах — у самого дна,
и как там — подводные нивы?

29.6.75, Белозерск

* * *

Соловки от крови заржавели,
и Фавор на Анзере погас.
Что бы ветры белые ни пели,
страшен будет их рассказ.

Но не то — в обители Кирилла:
серебрится каждая стена,
Чудотворца зиждущая сила
тут не так осквернена.

Потому надвратная икона
оживает в утреннем луче,
и берез величественных крона
все скользит, что тени на парче.

Что остановило комсомольца
сделать склад для красных овощей,
из свиных ноздрей пуская кольца,
у Святоотеческих мощей?

1976

В ИЮНЕ

четыре стихотворения

В.А.

1.

...Этот луг с необъятной травой,
светотени лимонной сурепки
и плывущие над головой
облаков тонкостенные слепки,
или дупла с замшелым грибом,
в мятной плесени ливня болячки,
береста в лишее голубом,
словно только что вышла от прачки...

В серебристых плотвиц бытие
под волною в смуглеющей чаше
облекаю желанье свое,
чтобы знала — как это щемяще.

1.7.76

2.

Стрекозка побыла — и нет.
Желанная за гранью мира,
она, как шмель, ушла в букет
махровых васильков эфира.

Напрасно радует глаза
слезы взметнувшаяся дужка —

медузка зноя, стрекоза,
хрустальных заводов подружка,

— истаяла наискосок.
А мы и без нее богаты.
Июньский полдень так высок,
как Рая древние палаты.

Нам остается сенокос,
травы и клевера ботвинья,
да гладкий за уши зачес
твоих каштановых волос
и блузки солнечные клинья.

12.7.76

3.

Словно крестик на верной груди,
белый пестик июньской сирени.
Колокольчиков зыбь впереди,
и сурепка растет по колени...

Ты, конечно, не можешь без слез,
это будешь не ты — без печали.
Говорят, на носу сенокос,
вот и выспимся на сеновале.

Где проходит косарь, колченог,
нам готовя душистое ложе,
замогильный сидит мотылек
на шиповника сливочной коже.

18.7.76

4.

Белые купы поздней сирени
гнутся под ветром среди светотени.
Свадебный полдень до зноя охоч.
Свет подвенечного — в белую ночь.

Поздней сирени античные слепки
волнообразны на фоне сурепки.
Снежные шапки альпийских высот
напротив вологодских ворот.

У монастырской разграбленной кладки
поздней сирени червивы початки.
Отблеск Софийности, Райских жилищ —
с напоминаем про недра кладбищ.

20. 7. 76

КУКУШКА

Махровых столбиков, куриной слепоты,
лесного клевера опушки.
Болотным сапогом не раздави травы,
загадывая по кукушке.
Как изваяние, замри на полшагу.
Июня радужная дужка,
медок лесничества на солнечном снегу...
Еще, еще, моя кукушка!
Голубка, ласточка, чего же ты молчишь?
Или тебе меня не жалко?
В скупом пророчестве, должно быть, твой барыш,
бесцеремонная гадалка.

13.6.76

ПЕРЕД ГРОЗОЙ...

I.

В лиловых зарослях лесного иван-чая
савраска в тишине пасется, источая
сиянье и дневной нагрев.

И слышно ржанье нараспев.

И первые рывки июльского стрибога
то отлетают в пустоту,
а то на влажное фарфоровое око,
вмиг уходящее с поверхности глубоко,
набросят гривы густоту.

II.

Видится башни надвратная ступка,
летнего воздуха лед.

Ветер, хлебнув из цветочного кубка,
все забегает вперед.

Всадники сопровождают обозы
синих купеческих туч,
где намалеваны черные розы...

Зной необычно могуч.

Что ж не встречаете колоколами,
что затаились, отцы?

Епитрахиями и стихарями
вас отоварят купцы.

Медью коричневой, костью молочной,
грубым стежком власяниц,
яблочной бронзой, парчою цветочной,
шелковым блеском зарниц...

Нечто — воспрянув в небесной пучине, —
что не имеет лица,
с белыми крыльями в ангельском чине
сядет в окне чернеца.

1975

ЧАЕПИТИЕ В ИЮЛЕ

*Уж тень, что пятнистая шкура,
лежит мертвеца холодней.
А мы, как Жуан и Лаура,
готовы обняться при ней.*

1.

Неугомонный писк цикад.
Садись к окошку ближе,
корми из рук их, как цыплят,
авось, и станет тише!
Блестит в стакане темный чай,
горят на блюдах слитки.
И мы с тобою невзначай
все длим чужие пытки:

вдруг стрекоза с ночной лозы
на лампу налетает —
ожог на крыльях стрекозы,
и всю ее ломает.
Иль мотылек в густой пыльце
спешит на тот же всполох
и вдруг — меняется в лице,
и слышен в световом кольце
его предсмертный шорох.

2.

Листовою веяло, и веяло, и стало
уже темнеть.

Я понимаю, ты устала
в окно глядеть.
Береза у дупла, что медная верига,
покрыта патиной — и вправду, тяжело.
На столике букет, две темных чашки, книга
между страниц хранит тепло.
То желтый мотылек, то червячок вползает
по клейкой лестнице листа...
И мне грядущее напоминает...
А ты смеешься, льнешь и злишься неспроста.

1975

* * *

Душный ветер на полустанках,
пыль на детях, на дядьках рвань.
Мазутный дождь в желобках и ранках
шпал, чья еще деревянна грань.
Иван-чай, шумящий в непоправимый
вечер у топляков Шексны.
Покаянно-злой шепоток любимой.
Наши с ней и чужие сны.

По любви и боль во хмельном угаре.
Покидаемый мариинский сруб.
...Вместе выбранный на базаре
темный персик за круглый рубль
надкусила нежно, почти нетленно,
и вернула мне уже в третий раз.
С краснотцою мякоть одновременно
приторна и горька для нас.

После этих празднеств все будет пресно,
к очагу тебе ли, ли мне в вертеп...
Лебединая горловая песня
разминующихся судеб.

23. 7. 79

ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА БАТЮШКОВА

На Родину, в сей терем древний
Б.

I.

Гейлесбергский герой, италийский младенец
под прилуцким снежком.
Меж раскисших лаптей и резных полотенец
треуголка его пирожком
не казалась ли странной, спросить по секрету,
или не замечал,
прозревая под тиной пахучею — Лету
и всходя на причал.
По сравнению с этим, и на поединке
говорят по душам.
Хоть зачесывал волосы всё по старинке
от затылка к вискам,
но, должно быть, не зря при скончании века
золотого, досуг
коротая в мольбе, словно Вологда — Мекка,
вспоминал он роскошного Мельхиседека
у медвежьих лачуг.
Ибо солнце пурпурово, небо имбирно
при рассветной косьбе.
Ибо темным червям и на севере жирно.
Ибо наша словесная вязь неотмирна
и сама по себе.

II.

Столько переплелось
снов и судеб, что даже
если б и не нашлось
что, то об этой краже
не горевал бы я
— и без того довольно.
Родина ты моя
вольно или не вольно.

Где с требухой пирог
царь завернул в газету,
точно единорог,
бриг уплывает в Лету,
падает стружка в гать,
не утолив печали.
Это ли благодать
та, о какой мечтали?

.

Хоть под землей лежит
множество порешенных
и обернулся скит
домом умалишенных,
хоть упаду и сам,
будто единоличник
в больше ненужный хлам,
в кислый Шексны брусничник,

все же пока несут
ноги и горла дышат,

может быть, нас спасут
те — кто об этом слышат.
Кто возводил сей дом,
ставил кресты на главы
и пересохшим ртом
пел ради Божьей славы.

III.

От иван-чая в глазах лилово
у мариинских глухих куртин,
словно земля зазывает снова
Батюшкова: Константин! Константин!

Но с виноградников южной речи
он, и не спятив, вернулся б сам
в Вологду, чьи баснословней плечи
и сарафанней открыты нам.

Так не надейся, что все пропали
те, кого доводилось знать,
и не пиши, чтобы впредь не ждали:
алчные, не перестанем ждать.

Ибо у русских одна дорога —
к дому — что курицам на насест.
Ты, Шексна, или ты, Молога...
И никого — кроме нас — окрест.

Тиной пахучей цветет канава
с бревнами шлюза — вот водопой.
Неотменяемо крепостное право
с л о в а над пятящейся душой.

1979

ВАЛЬДШНЕП

Саше Корнилову

По утрам поблескивают росы
у песчаной сосенки в паху.
На болоте бурой клюквы россыпь
прижилась в зеленом мху.
Источая испаренья лета,
препоясан ватник ремешком.
Горстку дроби высыпь из кисета,
ловко вскинь двухстволку с гребешком...
И увяз в сосновой оболочке
выстрела сухой хлопок.
И зачавкал по овчине кочки
и по сопкам пористым сапог.

Что за рощи вспыхивают дальше,
там, где воздух розовато-сиз,
знает только серокрылый вальдшнеп,
серый вальдшнеп, падающий вниз.

1975

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

I.

Позлащенные соты кирилловской липы.
Древних веток надежные скрепы и хрипы.
И тяжелые падуги зноя в листьях,
как признание силы чужой на устах...
Монастырской тропой к разоренной святыне,
где пригрелся лишай на кирпичном кармине,
я пройду без тебя, без тебя, без тебя
помолиться от нас в стороне — за себя.

II.

Лошадиные челки болотной осоки
пожелтели — подходят осенние сроки:
на копенках и пажитях иней блестит,
пробегают по жилам холодные токи,
и вошенный брусничник шуршит.
У соломенной тускло парчевой рогожки,
видя Родину как солею,
помолюсь за Московии злые окошки,
где сидел я, что зверь нерадивый, в сторожке,
— за пропащую душу свою.

1976

БЕРЛОГА

*Неопалимая купина
осенних роц,
Листвы подвижная лавина,
простора мощь...
Султаны луковиц лиловых,
рябины бурой жмых
и горки восковых суровых
плодов иных...*

Отразилось солнышко неярко
по земле осенней всей.
Встречной лужи огненная старка
обожгла гортань гусей.
Я люблю таинственные хрипы
и скрипящий иней на земле.
Как блестит листва столетней липы,
словно цитрусы во мгле!

И рассыпчаты, багрянолики,
но еще зеленоват испод,
восковые шарики брусники
и папахи высохших болот.

Там за далью елочного лога
вылиняла шкура бурых мхов
и приуготовлена берлога

— спать без снов.

8.9.75, Нил-Сорская пустынь

* * *

Буду ль жить я
В дальнем небе?

Кольцов

Я часто улетаю
в соседние миры
и сверху озираю
медвежий крен горы,
стогов хибарки рядом,
савраску вдалеке
и дом — с заглохшим садом,
с серпом на чердаке,
где я тебя на сене
когда-то целовал,
там накренились сени,
зарос репьем подвал.

В окне перекосило
столетнюю сосну,
а то бы видно было
алмазную Шексну.

Монастырек по вере
возжижился как встарь,
где дьякон: Двери! Двери!
— кричит, раскрыв алтарь.

...Когда же человеком
я снова становлюсь,

я сам себе ночлегом
иных миров кажусь.
Вместилищем любви,
знать, отдых — тоже путь!
Раз сон за веки ловит
и сводит с грудью грудь.

1977

ВЕЧЕР

Там — указал Кирилл.
Елочный горизонт
в блеске вечернем плыл.
Да — сказал Ферапонт.

И пенопенья стай,
что в облаках с весны
— от монастырских свай
до островов Шексны.

*

Елей, осин, осок
зелень темна, темна.
Послеиюльский ток.
Пепельный ворс гумна.

Келарня и казна.
Что на кивот поник —
сноп васильков и льна.
Кроткого Спаса лик.

*

Страшно тебе одной.
Лучше в далекий путь
тихо пойдем с тобой,
т а к, чтоб тебе на грудь

луч опустился вдруг
в цвет твоего лица
— не разжимая рук,
верных и без кольца.

*

Ветхую нашу плоть,
всю от ступней до лба,
верю, простит Господь,
только б была мольба.

Ибо в последний час
разве возможен страх?
Скажет: прощаю вас.
И превратит во прах

*

то, чему должно тлеть,
ибо неместно т а м.
...Сумерек русских медь,
словно припай к стволам,

в узком дупле оса,
синей Шексны прибой,
берег в волнах овса,
— только без нас с тобой.

*

Если закрыть глаза,
вместо ночной зари
«только без нас» — слеза
веки сожжет внутри.

Соль из-под влажных век
крепче сожми в горсти,
словно последний снег.
Только без нас. Прости.

12.7.78

13 АВГУСТА

Голубиная линька. Голубизна.
Лип неспелая желтизна,
заметная не для всяких глаз
среди бела дня на медовый Спас.

Тянет густо настланною травой
и цветами розовыми с могил,
словно зов за зовом: иди домой!
Темнолиц Никола, а Михаил

властно держит за рукоять огонь.
Но куда пойду из родимых мест?
Лучше губы в маленькую ладонь
я уткну одной из земных невест.

Мол, прости, родимая, грешный скарб
за моей спиной. В чередке седмиц
скоро листья высушит йод-загар
и погонит к югу крылатых птиц.

И когда срастутся у нас сердца,
так что будем зрячи, глаза закрыв,
ветер слепки снимет у нас с лица,
не одну слезу по пути пролив,

— вместе тихо-тихо вернемся вспять
по снежку, рожденному в этот день,
в храм Николы, чувствуя благодать,
пред которой каменная ступень.

* * *

Россия, ты моя!

И дождь сродни потопу,
и ветер, в октябре сжигающий листья...
В завшивленный барак, в распутную Европу
мы унесем мечту о том, какая ты.

Чужим не понята. Оболгана своими
в чреде глухих годин.
Как солнце плавкое в закатном смуглом дыме
бурьяна и руин,

вот-вот погаснешь ты.

И кто тогда поверит
слезам твоих кликуш?
Слепые, как кроты, на ощупь выйдут в двери
останки наших душ.

...Россия, это ты
на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли в Кресты.
В края, куда звезда лучом не доставала,
они ушли с мечтой о том, какая ты.

1978

КАРГОПОЛЬ

Главки из стеганой жести
да над оконцами — львы,
к нам обращенные вместе
в зарослях белой травы,
с места взлетевшая галка,
зимнего солнца ледок
(милая, жалко мне, жалко,
но не разрыв, а рывок)
— да городок за сугробом,
может быть, видели нас,
идуших, словно за гробом,
с инеем — около глаз.

1975

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА (†1937)

1.

Олонецких изб громадины
заколочены, глухи.
На резные перекладины
не садятся петухи.

Пролетая над амбарами,
ветер спрашивал, дивясь:
— Сладко ль вам под комиссарами?
А они проснулись:
— Ась?

Не найти тебе ни корочки,
ну да ты и так щекаст.
Словно мел на медной створочке,
золотится снежный наст.

Надо б этих комиссариков,
шедших с грамотой к крыльцу,
растереть бы, как комариков,
по усталому лицу.

10.1.78

2.

Древо с фениксами красными.
Строк личное полотно,
густо затканное гласными.
То все ясно, то темно...

Десять лет по норам прятался,
бородой зарос до глаз,
к новой власти плохо сватался.
Но пробил последний час:

оспяною лапой Сталина
взята в гиблые места
и зарыта персть крестьянина
без отпева и креста.

Где лежишь, Никола-мученик,
Богоизбранный помор?
Я прожгу слезой горючею
твой заснеженный бугор.

10.1.78

ОХОТА

Новосильцева потный рысак.
Оторочена туча мерлушкой.
На бегу легконогий русак
становился коснеющей тушкой,

замеряющей наискосок
десятины родного простора.
И влетев в оголенный лесок,
заливалась лягавая Дора.

...Уж давно по окрестным лесам
не сыскать длинноухих кормильцев.
Проливая коньяк по усам,
не трубит егерям Новосильцев,

но еще под глазами мешки
у меня... Бубенцы-колокольцы...
Вот таким выпускали кишки
на туманной заре комсомольцы!

1978

* * *

Заворожённый денек погож.
Первый снежок в горсти
мгновенно тает.

Родная, что ж,
я первым скажу — прости.

От дней, как падал румяный прах
в коричневатое озерцо,
как много правды в твоих словах
и как знакомо твое лицо!

Достало б силы у братских ям
припомнить все до последних крох.
Как будет мне драгоценен т а м
твой каждый выдох и каждый вздох.

...Прости, что в тридцать в рванье ходил
и ел с юродами на одной
кухне под сводом прихода. Был
(чем чаще лгал, тем тесней любил)
— не из тех, про кого похвалялись: «свой».

14.11.78

ОСЕНЬ 1978 ГОДА

I.

...ближе к милому пределу

II.

1. В е р а, Н а д е ж д а, Л ю б о в ь...

Бабьего лета отеческий лик.
Штрифель в холщевом кармане.
Красно-зеленый кленовый плавник
поутру выплыл в тумане.

Нищий сидит у церковных ворот
к мелу спиной, подбородком вперед.

Видят насквозь ледяные глаза.
Вылинял ворот рубашки.
К сальной подкладке его картуза
весело липнут медяшки.

С шишечкой черной резины костыль.
Псевдоплодовой отравы бутыль.

...Это, должно быть, сама благодать —
луч на надвратной иконе!
Бабки к ограде пришли торговать
астры и сливы в бидоне.

Тает холодная слива во рту.
Крепнет малиновый звон на лету.

30 сентября.

2.

На Никольском погосте в ограде
вязью значится «регент Машков».
В глянцевитом земля листопаде
от кленовых красна гребешков.

Точно в махом разбитой копилке,
перед нищим с грошами картуз.
— Парень, парень, сходи за бутылкой!
Побегу и скорее вернусь.

...Хорошо нам на Родине, дома
в сальных ватниках с толщей стежков!
Верно, чувствуем — близится дрема
та, в которой и регент Машков.

На ветру отсыревшие спички
инвалид прикрывает рукой.
По округе стучат электрички:
упокой, упокой, упокой.

3.

Безнадежно в осенние дни
пахнет яблочной гнилью вино.
Алый панцырь кленовой клешни,
как холстину, топорщит окно.

Красноперая севера темь!
Кто из русских не хочет того,
чтобы не было больше совсем
ничего, ничего, ничего.

Подстригает стога под горшок
ветер, лишку хлебнув на пути.
В Емишёво дорога, дружок,
стала жижей, и нам не пройти.

Только сразу заплывший чертеж
сапогом на раскисшем песке...
Только тянущий жилы галдеж
журавлей в предотлетней тоске!

...Все отдать за понюх табуку
— землю, волю, судьбу и фиту,
и лежать на печи на боку
с кочерыжкой зайчьей во рту.

4.

С. Стратановскому

В край Киреевских, серых зарниц,
под шатер карамазовских сосен,
где Алеша, поверженный ниц,
возмужал, когда умер Амвросий,

исцелявший сердца на крыльце,
ибо каждое чем-то блазнится,
куда Лев Николаич в конце
то раздумает, то постучится,

— я приехал в октябрьскую мгу
посидеть наподобье калеки
у руин и никак не могу
приподнять задубевшие веки.

...Надо встать, да пойти, да купить
настоящей отравы бутылку,
карамельки какой закусить,
чтобы стало лицу и затылку

сразу весело, жарко. А то
в шарф упрятать простывшую выю.
Все я думаю: — Братья! За что
изувечили нашу Россию?

5.

Небо рыхлое темное,
точно ямы во льду.
Даль земная огромная,
вся она на виду.

От рябины с оскоминой
лает рыжий трезор.
Путник в ризе заплечанной
входит в оптинский бор.

Страстотерпцу мерещится
вразумленная Русь.
В старке ивовой плещется
подмерзающий гусь.

Птица глупая серая,
в Палестину лети,
где кончаются, веруя,
человечьи пути.

Там, где самая строгая
служба ночью и днем,
— ждите нашего Гоголя!
— крикни с лёту в проём.

6.

В лжеучении Толстого
есть над чем всплакнуть,
от Козельска до Белева
коротая путь

с тенью оптинского бора,
где одно в одно:
ребятни патлатой свора,
ругань да вино.

Ужас вместо русской чести
побелил кулак,
— только вспомнил шелест жести,
храмин сбитый праг

и ломоть, подобный глине,
из которой плоть...
Сколько зла в своей святыне
попустил Господь!

7.

Наметало кленовых стожков
с веток, свищущих, как кнутовища.
Коля Воронов. Регент Машков.
По соседству кресты и жилища.

С благовестом милеет лицо
за оградой юродки счастливой.
В стороне заросло озерцо
камышами с кауровой гривой.

...Перелетная утка крылом
расплескала осеннюю старку,
но когда б я сидел за столом,
мне хватило б на целую чарку,

что наполнена по ободок
на расшитом крестом полотенце...
Я бы, выпив ее за глоток,
помянул старика и младенца!

8. Покров день

Кауровым леском прошитое,
жнивьем ершащееся поле.
Знать, Подмоскovie самовитое
печется о своем престоле.

Покров с надвратными иконами
зарю встречает властным звоном,
плывущим над погостом с кленами,
и мне б хотелось на котором

однажды лечь под свежей пахотой,
пока ее не смерзлась проба,
чтобы у паперти распахнутой
стояла твердо крышка гроба.

...Но идущим путями скользкими
невместно и мечтать об этом.
Не сто́ит кладбища Никольского
не брезгающий белым светом.

За ВЕРНУЮ ИЗМЕНУ РОДИНЕ
взамен широких листьев с веток
ему махровых черносотенных
на крест навешают виньеток.

14 октября

II.

...Удушает прах летучий

Б.

1.

Это — когда опять без угла,
а дело вовсю к зиме.
Электричка клацнула и ушла,
нас утопив во тьме.

Еще в пути человек простой
все угостить хотел,
да я в ответ мотнул головой:
не буду, дескать, — говел.

На полустанке ледок и слизь.
Пришлось его довести:
— А ну, браток, на скамью садись,
а я побежал, прости.

...По черным путям к любимой своей,
где ее отец-инвалид
из суток в сутки на койке спит,
где венчик газа всю ночь горит,
но стоек сквозняк с полей.

28 октября

2.

Первый снежок завсегда служил
ссылному для охот.

Наливки няниной заложил,
вскочил в седло и — вперед.

Под небом дымчатым с бирюзой
лицейский аллюр... А тут
скорее сам бежишь от борзой,
слыша спиной: ату!

Не разбирая, где топь, где мрежь,
где лес, а где городская муть.
И сорок верст пробежишь, допрежь
найдешь — у кого стрельнуть.

...И все угадывая в пути
не просто смерти грядущий час,
а миг, когда пригласят п р о й т и
иль дотянут блатную козу — до глаз.

2 ноября

3.

Забудь, чего я тебе скажу.
А не забудешь — что ж.
Я сам, что тать, по ночам дрожу
и выкрикну первым: ложь!

Заворожённо с дубовых крон
рушится ржавый лист.
Пустого храма шербат пилон.
Ветра холодный свист

по-уркаганьи прилип к лицу.
Ухватчив сухой репей...
Здесь бы повел я тебя к венцу
мимо живых ветвей

во дни — как ладан катил слои
к оперенью свеч, за которым Спас.
Чтоб отец, и мама, и все твои...
(Далека дорога обратно.) И
— на заре ободок у глаз.

30 октября

4.

В чужом дому. Книгу возьму
(а дело к зиме — беда!)
— или слово не по уму,
или белиберда.

Посеребрен вдалеке лесок,
и обещен храм.
Как ржав кирпичный его песок,
когда долетает к нам!

...Скоро за раму сала кусок
повесит добряк-отец.
И будет синица его — цок, цок,
пока не склюет вконец.

Но в эти дни уже тут с тобой
не просыпаться мне.
А где-нибудь с больной головой,
с монеткой (а на пивко) сырой,
с зимним бельмом в окне.

31 октября 78

ОЖИДАНИЕ

Инне Лиснянской

Если вытянуть ельник в один гребешок
и вощенное солнце задуть,
можно брюхом упасть в вологодский снежок,
до медового марта уснуть...

Если б в марте поглубже засесть в колее
на несмазанных салом санях
и очнуться на Пасху — когда к солее
идет пламя на красных свечах!

Чтобы белые ночи варяжскую гать
освещали до самых корней.

Чтоб кукушке по тысяче раз куковать
на погосте во славу людей!

Знать, не нам переждать, заберложась, беду:
в жилах кровь чересчур солона.

Слишком тянет в оконце разглядить слюду,
веря обетованному: ЖДИТЕ. ПРИДУ.

Слишком наша душа не вольна...

1979

* * *

Крупички пигмента с сусальным вкраплением с фрески над Ладогой перятыся, сыплются за перелески и кажутся сами то сумерками — то припеком, где древние ели поют о своем одиноком...

В чащобном валежнике щедро рассыпаны втуне подснежники в мае, купава и ландыш в июне.

Ни Божьей руины, ни запахов падали трупных — никто не кошунствует в этих местах неприступных.

В летучих крупичках живет чудотворная сила Марии и Анны, Иосифа и Гавриила.

Недаром тряпицей чело повязал богомаз и нежные кисти из жесткой щетины припас.

Полотнища камня, приделов упругие дуги как будто не видели, что происходит в округе — что в новой Гоморре в расчете на скорый барыш в киот кипарисовый алчно подброшена мышь.

1981

ПАМЯТИ БЕЛОМОРЬЯ

Длинногривые травы на скользких камнях —
блещут ракушки в космах, моллюски в корнях,
и на кромке отлива
в медовеющих выбросах блестящая слизь.
Как тучна и дородна — проспаясь, приглядишь —
беломорская нива!

Но какого жнеца молодит зеленца?
И земля под ногами червива.

Вкруг шиповника дикого миг покружу,
заскорую руку платком обвяжу,
словно кисть перебита,
брошу розу под чайки тревожащий зов
на примятый в тридцатых ногами рабов
пласт прибрежный гранита.

Папироски дрянца. У такого гребца
и такое корыто.

Не спеши относить мою лодку, волна:
может быть, мы не всё получили сполна,
и пока на колени
не поставил в кожанке запойный паша,
неустанно во плоть одевает душа
неотмщенные тени.

ПИСЬМО

Если вырвусь я из железных лап
и не буду мечен, хоть малость слаб,

притеку на море — гранитный край,
и гадюкой в бурый вползу лишай.

Заведу имущество: лодку, снасть.
И в блокнотце ветхом решусь попрясть.

Напишу и скомкаю — так — «Илья!»
...«Драгоценный мальчик, где ты? Где я,

толпы душ положены невзначай.
Если будут спрашивать, отвечай

на вопросы старших одно и то ж:
у отца в хибаре топор и нож.

А покажут фотку, скажи: не он.
На тропе гнездо, комариный звон,

никого в норе, нараспашку дверь —
всё к тому — что я не такой теперь».

1981

* * *

1.

Словно полукафтаны опричника
проскользнуло меж глянца берез.
За занозистой резкой наличника
наше царство в собачий мороз
будто зеркало с маху раздроблено
и в единый кулак сведено,
бочке с квасом хмельным уподоблено,
верно, нашим Всевышним оно.

За картофеля выцветшим ситчиком
сжатый в копны пожух сенокос.
Плесневееет над спелым черничником
крест на кладбище — брусья вразброс.
Словно хлебное месиво квасится,
меж осклизлых камней солона,
заиграет, застонет, окрасится
кверху вспоротым брюхом — волна.

3.8.81

2.

Жемчужная отмель в спиральках червей
запала в гранитную гальку,
где в куколе черном отшельница-ель
пригрела залетную чайку.

Как в беглую цель,
когда белый ветер пускает пращу
бухому вослед экипажу,
я руку по локоть в волну опушу,
осклизлую гриву поглажу
и вдруг

ухвачу ее наверняка
малькам и моллюскам в угоду,
как труп пощаженного Богом зека,
волнами прибитого издалека,
еще сохранивший породу.

5.8.81

3.

За отбросами моря вонючими
солнце в матовой ауре-мгле
сыплет искрами в волны колючими,
что становятся ржаво гремучими,
точно жечь в соловецком кремле.

На остывшей золе
в стороне за глухими бараками
пред бесследностью братских могил,
как пред Богохранимыми раками
помолюсь не словами — а знаками,
будто сам я кого-то убил.

10.8.81

КОЛЕЖЕМСКАЯ САГА

За оконцем скошенным избушки,
чей хозяин найден мимолетом
в ноябре с початою чекушкой,
весь снежком засыпанный... чего там...
— громче волн гремучие повторы,
раздуваемые ветром лютым.
Но все глуше вспыхнувшие споры:
что стряслось намедни с шелопутом?

...По стене расклеил бестолково
вкладыши цветные из журналов —
образа работы Глазунова
панславянских Ашурбанипалов —
и давай вытягивать на вилах
из прибоа водоросль-вонючку
и сушить на чердаке в стропилах,
предвкушая знатную получку.

По шуге провел напропалую
лодку чуть не прямо к магазину,
маленьких набрал на четвертную,
как попало побросав в корзину,
и отчалил засветло обратно.
Кто же ждал такого оборота?

Как его, должно быть, неприятно
было вдруг заметить с вертолета!

* * *

Соловецкие волны, на вас не ступлю никогда:
мне не надо от вас ни рассказов про смерть торопливых,
ни гремучего выброса окровавленного льда,
ни осклизлого камня

с наростами трав долгогривых,

...ни стрелецкой щепы,

ни почти домотканый покров
из сухих лишаяев и довыспевшей бурой брусницы,
покрывающий осенью мощи бесчисленных рабов
наподобье хранимой

в надежном кремле

плащаницы.

июль 81

СВЕРЧОК

Сверчок в изголовье, что мелешь, скажи?
Бесмысленно песен твоих миражи

встают от жемчужин — до гнили домов,
обмоченных впрок мужиками с углов.

Я весь истаскался, в родимых краях,
как цуцик, живу с нищетой на паях.

На что уж — и то капитальной меня
сверчок супротив темноты и огня.

Никто не пытается: о чем он поет,
как любит, сколь долго на свете живет

и где умирает — все в том же углу?
пока из печи выгребают золу...

Каприз роговицы в минуту труда
словесного, впрочем и то не беда,

светла, что горошина в спелом стручке,
слеза — о сменяемом братом сверчке.

1981

В ДЕТСТВЕ

Высока моя постель...
Убаюкивает, тая,
Убегающая трель,
Костяная и пустая.
Бунин

Серебряная ложечка
с червленым черенком.
Как бы щекочут ножичком
под самым кадыком.

Не смерть стучит костяшками,
благословляя плоть,
— целебными ромашками
пропахшая щепоть

перекрестила мальчика.
И я уснул. В ночи
стволы морозцем лачило,
багрянилось в печи.

Манил цветными сотами
фруктовый сахар и
качанье за кивотами
сусанинской хвои.

И бабин лоб с морщинами,
и прядей молоко,
и кладбище с лощинами
— совсем недалеко.

*

Сочится сукровицею
расшитый сапожок.
над бритыми над лицами
с ветвей летит снежок.

Похож на елку с птахами
рождественский старик.
Скрипучий наст под ляхами
розово-сер на миг.

Есть что-то жутковатое
в сусанинской петле
сквозь чашу. Густоватое
варенье на столе

малиново сиропится
сквозь мой глазной раек...
Повремени хворобиться,
не засыпай, малек!

Вдыхая искру снежную,
больного горла сушь
в отроческую грешную
заманивает глушь.

*

И слышно — печка топится,
хоть к марту пуст сарай.
Простуда в теле копится,
в фарфоре прет чай.

Синичья голубиная
грачиная тшета.

Июньская куриная
на грядках слепота.

Мой сад, из снега лепленный
с тенями летних мет...
И золотосеребряный
иконостасный свет!

1 января 80

* * *

...Не Новгород купец, не древний воин Псков
был выбран для паломничества нами,
пусть новодел Кремля возрос до облаков,
зане упитан костяками,
не глинобитный путь, не башенный Изборск
с хмельным и кряжистым народом,

— а утро лунное, похожее на воск
и растопившееся медом.

Луна и озеро. Сосна и мотылек
в глубинной синеве эфира,
где сладострастный Вульф под крест покорно лег...

И Святогорский холм покоит Ямбы Мира.

1976

* * *

Р.Ермаковой

Дай мне еще раз взглянуть на тебя
— пахоту белит зима запоздалая,
в хилых занозы стожках теребя,
псковщина нищая, глушь одичалая,
где с шепелявым ваньком разговор
от бормотухи вдогонку и груб еще
и благолепные главы Печор
словно заплаты от ризы на рубище.
Здесь я паломничал месяц юнцом
и литургий до конца не отстаивал,
с длинными космами, гладким лицом
от безобразной столицы оттаивал.
Или не петрил тогда ни аза,
или просить не умел, как положено,
только морщины легли под глаза,
мысли беспамятны, сердце встревожено.
И прикипело — идти за черту,
наскоро шитую белыми нитками,
чтобы на вольных хлебах — в немоту
впасть, наконец, обрастая пожитками.

Дай я еще покружу над тобой,
пахота мерзлая с горклой оскоминой,
ветер пронзительный, воздух рябой...
— вороном всперенным в клюве с соломиной.

1980

* * *

Мы будем с тобой перед Богом чисты,
что осени огнепалящей листы,
где спутан узор червоточин
с ледком травянистым обочин.
И глядя из мрака — в Успенскую сень,
мы милости ждем, а не мщенья.
И, может быть, ты только бледная тень
той будущей — после прощенья!
А я уж не кокон, вмещающий ложь,
зимующий в черном стропиле,
а тот — чью ладонь ты с охотой возьмешь
в раскрытой для Чуда могиле.

13.10.77

* * *

Т.М.Великановой

Настигает в единственный
день какой ни на есть
из России таинственной
долгожданная весть.

Это перистый йодистый
блеск ночной на торцах,
драгоценный породистый
снег наследный в садах,
как — и черные радуги
в полукружьях окон,
валаамского с Ладоги
благовестия звон,
исполинские ветоши
и марлевки хвои
слышно шепчут об этом же,
что и губы мои,

и под коркой течение
о гранитный мазут
— притекать в ополчение
на венец на мучение

добровольцев зовут.

1981

Иордань

P.E.

Эти стихи — после обыска в предположенье ареста —
последние, написанные в России.

* * *

Где большие наволочки метками
просолились беспричинных слез
и запястья красными браслетками
унизал заботливо мороз,
у сорок — сорочинская ярмарка
и, видать, не малый оборот.
Но зачем задабривать подарками
дорогую с бровками вразлет?

За глухими елями и соснами
в скрипкую предутреннюю рань
подо льдами крепкими и косными
закипает речка Иордань.
Слабоумный Саша, бывший лодочник,
пережегший за зиму гортань,
ты, боярынька, и я, считай, колодочник
— притечем креститься в Иордань.

2.2.82

* * *

Что делать нам в деревне?

Пушкин

I.

Зимой в России делать нечего:
по пояс снег — полшага в сторону.
И мы с тобою опрометчиво
влюбились солоно и поровну.
...Я за автобусные поручни
хватаюсь голыми руками,
ты долго машешь шапкой кроличьей.
Под перистыми облаками
деревня, бор с его соцветьями,
где сосны пышные, как пинии.
И наши ласки с междометьями,
оставившими лунки в инее
окна. На заокольном кладбище
снега богаче, чем надгробья.
На стекла лавки испытующе
мужик косится исподлобья.
Давай-ка тоже купим водочки
за войлочной скрипучей дверью!
Ведь мне не в вашем околоточке
сидеть, а где-нибудь под Пермью
все вспоминать подушки с прошвою
вдоль по крахмальному откосу,
а главное, твою роскошную
с утра уложенную косу,

похожую на цитрус солнечный
во мгле среди хвои и снега,
дающий знать душе невольничьей,
что все готово для побега.

II.

Сегодня стёкла в снежном хворосте,
но мы сквозь них глядеть умеем —
там ветра бег, лишенный скорости,
так схож по густоте с елеем.
...Среди стволов темночешуйчатых
и блестящей от мороза хвои,
незаконены, невенчаны,
пушкинианцы и изгои,
о чем-то грезим днями целыми,
переслоив вражду и ласку,
и видим наяву с прицелами
приснившуюся Тане сказку.
Я чувствую почти келейную
символику ее размаха,
когда дышу на жилку шейную
тебе, трепещущей от страха.
Знать, за серебряной дорогою
твоя усмирена бравада.
Я и издалека потрогаю,
достану, если будет надо.
А лучше — обвяжись вокруг пояса
платком и в путь сама отправься
с молитвой — в направленье к полюсу,
вморожена в который явь вся.

К колючей зоне за поляною
ты подойди — я не поверю,
и мельбу в руки кинь румяную
заросшему седому зверю.

III.

Еще не все ночные полосы
растаяли в пространстве белом.
Еще родная в косу волосы
не заплетает между делом
возле окна с густой порошею
иль блеском льдистого фисташка,
еще не лает на прохожего
с плюмажиком хвоста дворняжка
— а я уж вместо благовестия
шаги слышал наудачу
и жду: опять нагрянут бестии,
начнут пытаться — чего где прячу.
Один с зализанной зальсиной,
следком бритья на подбородке,
другой на шее с сыпью бисерной
и хищным зобом посередке...
Но полно, полно, не чернилами
т а к и е пишутся проклятья.
Года с безвестными могилами
готов на откуп все отдать я.
Пусть души сами поквитаются
с другими, что сегодня в теле.
Лишь там, где вместе собираются
в одну великую — метели,

я только что с другими поровну
кайлом о лед ворон покличу,
чтобы слетались — с вами понову
делить привычную добычу.

IV.

От тишины геройской горестной,
прославленной похмельным Глинкой,
так хочется живой колодезной
воды с трепещущею льдинкой
среди густой хвои кладбищенской.
И россыпи алмазной пыли
в окне любой избушки нищенской...
А говорят, что бедно жили.
Ты, замечаю, тоже ленишься,
гляди, чтоб не вошло в привычку,
подставя, никуда не денешься,
к берестяной растопке спичку.
...Я нашу страстную убогую
судьбу со времени Петрова,
огонь и шавку мохноногую,
не понимавшую ни слова,
хвою с заснеженными лапами
в окне, прорубленном из сказки,
— припомню в темноте «стольпина»
под визг и лязг колес без смазки.
Кажись, чего с тобой мы видели?
Под вольнодумную ухмылку
и благовестие в обители
не запрягали нам кобылку,

и не сжимала ты под сободем
руки псковского паладина,
а пехом мы верст семь оттопали,
и солона у губ щетина,

V.

— но все в бреду придется в царскую
мне руку запускать солонку
и вспоминать густую вязкую
лазури вьюжную сгущенку.
...А то и как еще по осени
шел в телогрейке нараспашку,
топча щетинку свежей озими
и плохо скошенную кашку,
вот этой самую дорогою.
Тут каждая деталь — подмога.
Я и издали потрогаю
тебя за сердце, недотрога.
Об эту пору кофты байковой
не следует снимать и ночью.
Спи, убаюканная байками,
которые наплел воочью.
Боярыни, бывало, прячутся
по жарким теремам, что клушки.
Но вот потешный полк ребячится
и с кораблей стреляют пушки,
волной распахивая форточки
и перелистывая книги.
Через ручей — по скользкой жердочке
несет к Онегину топтыгин

свою добычу необычную.
Но так строга твоя мамаша,
что не дает слизнуть брусничную
из шейной жилки каплю даже.

VI.

...На правом ли, на левом клиросе
иль прямо на алтарной створке
в резьбе так много яблок выросло,
как под припеком на пригорке.
Так горячо и тесно на сердце,
что солона под веком дужка.
И все-таки в лампаду маслица
долей, угрюмая старушка,
косящая на неугодного,
как на подверженного сглазу.
Еще бы — столько греховодного
во мне за год скопилось сразу!
Теперь пора в дорогу черную.
Уже стучат в ушах колеса.
Не перегнуть судьбу упорную,
так мощно выросшую косо,
как будто кто-то воздух выстудил
в неловком ожиданье чуда.
Зато теперь, скажу по истине,
как ни сжимай мошну, Иуда,
своими пальцами паучьими,
а на колени не поставишь.
Глядишь, за неимением лучшего
и я — одна из Божьих клавиш.

До слез вдыхаю мглу небесную,
предметельную густую
и, догрызая пайку пресную,
все благодарнее Кресту я.

* * *

То реквиемом, то Осанной
ночной переполнен массив,
с живительной манной
кутейное брашно разбив.
В лесных голубятнях
под сойками ветер упруг —
им помнить о братьях,
ручных сизарях недосуг.

Но веки смыкая
при лампе, коптящей в метель,
ты помнишь — к а к а я
тебя принимала купель.
Какой Иорданью
омыта с мизинца до лба,
когда к отпеванью
судьбу обряжала судьба.

Считай, что колодник,
простившийся с домом родным,
на дню, как народник,
смеюсь над испугом твоим
и символом веры,
в котором слова-сургучи.
Но сердце от меры
все глубже таятся в ночи.

Пусть снова забродит
дыханье твое на виске

моем, где проходит
глазная морщина в тоске.
Мы долго мотали
клубок, раскрутившийся в путь,
пока не упали
бессильно друг другу на грудь.

28.2.82

* * *

Потемневшая пижма, осенними сроками
невзначай принесенная в дом,
даже в лучшие дни не богатая соками,
спит в кувшине с мышинным душком.
За окном снежнохвойное блестящее месиво,
у породистых галок полны закрома.
Только пижме в угрюмом кувшине не весело,
и жива ли — не знает сама.
И товарка ее, навсегда погребенная
на спрессованном дне снегового холма,
что сказала б она, увидав удивленная
эту нашу — не знает сама.
...Одиноки твои вечера с перестрелками
великанов алмазных кровей.
Попадая под осыпи снега под белками
с напружиненных лап и ветвей,
редкий гость забредет за каким-нибудь рубликом,
щелкнет в горло небритое, дескать, уважь.
В паз меж Псковской и Новгородской республикой
сунешь руку, достанешь, не хочешь — а дашь.
И Господь за твою простоту изначальную
на скоблёные доски положит тишком
с золотистой ленточкой свечку венчальную
возле пижмы пожухшей с мышинным душком.

31.1.82

* * *

Ветер бьет в лицо, что в стену,
только соль из глаз.
Ледяную гонит пену
мутных туч на нас
и того гляди задушит:
дескать, костеней,
будет, дескать, бить баклуши,
тьнь среди теней!
И откуда так кривляться
у тебя досуг,
не пора ль за дело браться
попытаться, друг?

Ну, когда т а к о е дело,
верно, лучше впрямь,
воскресая, бросить тело
в ров, могилу, ямь,
где исподнее, от стирки
сделавшись мало,
с семизначным шифром бирки
по ночам бело
и всего скорей с порога
гробовой тиши
на одну из пасек Бога
перелет души.

1.2.82

Лог, Гдовщина

Песни венского карантина

ПАМЯТИ ХОДАСЕВИЧА

*Рыжий сеттер, листовою шурша
по-охотничьи благоговейно,
шелковистую холку ерша
дуновеньем то с Майна, то с Рейна
— пробегает меж бурых стволов...*

Словно жертвенник бабьего лета,
палых листьев колышется ком.
И трясутся доспехи Макбета
(я пошел — и наказан за это)
в «синема» за ближайшим углом,
где трамвай тормозит, не иначе,
и бульжник влажнеет с торца,
словно это залиvisto плачет
под кухонною сталью овца.

И из горла утихшего скачет,
обжигая, струя багрца.

...А какая еще образина
лапки нежные трет у окна,
густорыжая прядей лавина
(охра, хна да болотная тина)
— закрывает от глаз дотемна.

октябрь 82

* * *

H.G.

В ветхой трубке дышит невозбранно
знобкой синевой
голос твой, заведомо желанный,
нежно горловой,
— то проснется, то задремлет снова,
подлетев ко мне.

Я хочу яснее слышать с л о в о
в общей каркотне.

На моем лице остывшем — утром
видится впотьмах
вот уже два месяца как будто
самый серый прах.

И одна бессмыслица в коробке
черепной, увы.

Сносит ветром после пол-литровки
кепку

с головы.

Не дается мне в скрипучем кресле
заданный урок.

Потому и вздрагиваю — если
слышу вдруг звонок,
столь настойчивый, непостоянный,
а за ним — родной

голос твой, заведомо желанный,
впрок закланый мной!

7.12.82

* * *

Рыжий сеттер меж бурых стволов
пробегаёт, листвою шурша.
В рыжизне своей даже лилов,
он за дичью нырнуть бы готов,
да уж больно она хороша:
— утки, селезни, лебедь с своей
шелкокрылой подругой... А мне
вспоминать до скончания дней
лишь пиявку на илестом дне
с камышами сухими над ней.

Из Европы Тургенев Иван,
было, ездил охотиться к нам.
А теперь только водку в карман,
да пугну воробьев, как поддам,
чтоб кончали пищать, дураки.
Если в жилах живая вода
вроде той, что из Леты-реки,
разве долог наш путь — в никуда?

Потому, знать, теперь и пора
не ворон по кладбищам считать,
а бессонно с утра до утра
сказки Венского леса читать,
где по гладким осенним прудам
проплывает несметная дичь...
И всю жизнь по чужим городам
свою память — где резать, где стричь.

9.12.82

К ГЕРМАНИИ

Мне видится Мюнхен бесслезный,
летящая Рейна волна,
весь мрамор его кровеносный,
где каждая жила полна
обманчивой жизнью без цели,
ну разве среди позолот
разросшейся вширь капители
какой воробьишка всплакнет.

Мне видится мрамор германский,
вражда у левачки в глазах,
и череп ее арестантский,
и с плеч соскользающий — ах,
платок с золотой канителью.
Германия, что мне твоя
земля, рассеченная с целью
коварной — на два бытия?

Видать, из пригубленной чаши
есть таинство в винах льняных,
раз лучшие мальчики наши,
хмелея от лекций твоих,
в дремучие рощи сырые
и черную степь без конца
везли не карманы пустые
— разбитые в спешке сердца.

Зимою, когда не отличен
от барина нищий вотще

и ветер, то хрипел, то зычен,
высвистывал дырку в хряще,
сколь метко Всемирного Духа
вливала ты нам белену
в от холода красное ухо
по капле — одной за одну!

...В невиданной каске блестящей,
с махрой в нищенских усах,
у самого сердца стоящей,
считай, на почетных часах,
зачем тебе было, могучей,
трезорку дразнить в конуре
— чтоб ныне с проводкой коллючей
лежать в рассеченном нутре?

17.12.82

ПО МОТИВАМ ВИСКОНТИ

В.А.

1.

Меж патиновых ветвей
ив плакучих в день октябрьский
горько кормит лебедей
Людвиг избранный... Баварский,
опуская руку за
всякой всячиной в корзине.
Вдруг во весь экран — ГЛАЗА,
обращенные к кухне
и отбившие багрец
у изнанки горностая.
...Но уже во рту свинец.
И арийский жеребец,
своего патрона зная,
раздевается при нем
и плывет зазывным кролем
— словно полон водоем
бьющим в ноздри алкоголем.

2.

Я помню, как Людвиг с кузиной
в заснеженной роще гулял,
как сутками с русым детиной
свою красоту пропивал,
и начал, ни много ни мало,
дворец городить за дворцом,

за залой отделять залу.
...Как ты молодела лицом
и грудью мне к локтю прижалась,
когда мы Арбатом брели.
И красная тряпка качалась
от нас в безопасной дали.

10.12.82

* * *

Сизые тени пихт
спят на лугу Кускова.
Вёсельный скрип затих
и заработал снова,
чтобы уйти в песок
у островка сыпучий.
Серую ткань рассек
меч серебра под тучей

и заиграл в окне.
Всплеск и шуршащий гравий
шепчут о том, что мне
впредь не читать заглавий
в пыльных шкапах дворца
и не скользить из залы,
где оплела гнильца
новых зеркал овалы

и захватила в плен
тени, белее риса,
минимум трех Елен
и одного Париса.
...На баснословных мест
темечко став пятою,
долго не надоест
мне им махать рукою.

9.12.82

* * *

Неужели однажды одна
ты поедешь когда-нибудь в Крым?
Утром древнее золото со дна
там всплывает под солнцем седым.

Но недаром стаканчик вина
виноградником пахнет больным.

Нет, о том и мечтать перестань!
Не гулять тебе там налегке,
где, однажды заехав в Тамань,
Михаил охромел в челноке.

Духарись, моя тень, горлопань
в глинобитном ночном тупике!

А когда ты пойдешь винтовой
узкой улочкой Ялты опять,
будет ветвь над твоей головой
непотребная пальма качать.

И курортник в футболке с женой
вдруг начнут друг на друга кричать.

Нет — не надо ни дрока, ни роз,
ни смывающей гальку волны,
фиолетовой — там, где Форос,
и жемчужной — в начале весны.

Я могу перейти от угроз
прямо в самые крепкие сны!

9.12.82

* * *

В гордости, слабости, страхе и пламени,
жгущем в мороз заодно,
чем вы там тешитесь? Нашего знамени
— ветхо ль рядом?
Боже, как вспомню углы непотребные,
кволюю пьяную дичь,
стены изборские, волны целебные
— хочется это постичь.
Крепче ли душит змею патриотики
медный титан на коне?
...Тут все соблазны — в жестокостях готики,
этого года вине
да молодеющем сердце — а надо ли
эдак ему молодеть?
Дым из Отечества с придыхом падали
душит сердечную клеть
и не дает доосмыслить значение
крепких, впервой, башмаков,
в стрельчатой мгле золотое свечение,
сутолку без кулаков
и телефон с запыхавшимся голосом,
нежным — в плотину годам.

...Где только копоть садится на волосы,
веки и бороды вам,
— ибо не дело, что строки затырены
свежие под лежаки,
все ли вороны над храмами вскрылены,

все ли мостки судьбоносно подпилены,
всё ли о'кей, мужики?
Слышу и ропот, и меди бренчание,
экие, — полно серчать.
Буду, что старая нянька, молчания
черную зыбку качать.

10.12.82

ТВОЕ МОЛЧАНИЕ...

И.Ю.

I.

Твое молчание... оно, что правый клирос,
но в будний день.

Мерещится, я с ним и вырос
в соседстве деревень
и рощ обтрепанных, сыпающих багрянец
с сырых ветвей,
где стала пахота тверда, как сланец,
и вместе с ней
сердца затихшие, податливей с испугу.
Бесслезные глаза,
равнооткрытые и недругу и другу,
разжалобить нельзя.

Твое молчание... оно подобно снегу,
сравнивавшему за час
холмы с болотами. Лишь ночь дала ночлегу
в окно алмаз,
погасший сразу же. Должно быть, там закрыли
в печи угар
и пшенку кислую, оставшиеся в силе
еще с татар.

Я этой целиной, наполненной до края,
решил вперед брести,
твердя известное, как некий, дорогая,
одряхший Филиппок, что, в школу поспешая,
всегда в пути.

II.

Ты вся уже там — в немом
темном пустом массиве
жизни, хоть мне о том
странно помыслить вживе.
Что там? Листва, трава,
голый отлив прилавка,
тряпки, на них — слова,
каждое, как удавка,
в дымке оконных рам.
Большая половина
жизни осталась там.
Что ты молчишь, Ирина?

Не голубой билет
Федору и Ивану
я возвращаю, нет.
А на висок тирану
алчно гляжу без зла,
мерюсь к его затылку,
вдруг о ребро стола
вздумав разбить бутылку.

.

...Помню тебя, прости,
с мокрою головою,
то ли с снежком в горсти,
то ли в перстах с айвою.
Так не прячь, не таи
слово свое и тело.
Слышишь, они — мои,
каждое нежно грело.

III.

Сжимая жалюзи, за старый шелковистый
тяну шнурок, — чудно,
и вглядываюсь в дождь зернистый:
вдруг почтальон на жестяное дно
спокойно бросит сумрачный конвертик
из диких мест,
где, вкорененные в разграбленные тверди,
всё удлиняются сбивающие жерди
кресты с небес.

Иль думаешь, что ничего не скажешь
мне нового? — прости —
а только разве по губам помажешь
каленным семечком базарным в саже,
из маленькой горсти.

...Что время вытекло, как в трещину асфальта
из бочки молоко?

Неправда, милая! Еще не гаснет смальта
и медь в Зачатьевском... Единственное — жаль то,
что снова далеко

такая знобкая таинственная полночь
и самый Крестный ход...

Ледка подтаявшего звездчатая щелочь.

И милицейская маячащая сволочь,
теснящая народ

туда, где пиками щетинилась ограда
под ребра пацанам... Скорее напиши
чего-то верное... Иного и не надо

— из осажденного посада
твоей души.

* * *

Я не понимаю — о чем
сизарь-европеец лопочет
и ветер шуршит за плечом...
Пусть жизнь моя дышит, где хочет!

От спячки встряхнусь, молодясь,
и встану с глубокой скамейки.
Подброшу в ладони, смеясь,
всю сдачу со здешней копейки.

Тут, впрочем, зима не страшна:
не зябнут ни кисти, ни шея.
Хоть издали греет мошна
блестящих дельцов ротозея.

...Когда же нахлынет апрель
и твердо почувствую — крышка,
я милой в Судак, в Коктебель
чиркну ненароком письмишко:

«Где моет прибой, зеленыя
знакомого камня породу,
скользни там одна, без меня,
в слоистую беглую воду».

А чтоб не всучил почтальон
ответ, отговорок не слыша,
я стану нырять, как тритон,
в глубоком тумане Парижа.

октябрь 82

* * *

Смерть, трепет естества и страх!

Державин

Из тьмы тутаевской, египетского плена
я выскользнул зачем?
Мне все равно, к у д а мои идут колена,
раз сердцем чувствую — что тщетно билась пена
о твердь небесных тем,
и перилась, и разлеталась,
не зная почему.
Единственное уцелело — жалость,
и та не долее под сердцем удержалась,
чем белые в Крыму.

Спиной к грядущему с невидимого краю
присядь на солнышке, насыпь в лоскут махры...
Пусть чайки вольные вверху визгливо бают
и ветер тянет за вихры,
учительствуя безнадежно,
захлебываясь вдалеке...
Мне б в камни — всем лицом. Постыдно, если нежно
в ночи щеке.

9.12.82

*Ибо наша словесная вязь неотмирна
и сама по себе...*

Ю.Кублановский.

«Памяти Константина Батюшкова»

Одним из наиболее существенных последствий появления нового крупного поэта является неизбежность пересмотра всей истории поэзии и особенно наиболее близкого хронологически периода. Речь идет не столько о поисках генеалогии или влияниях, сколько о выявлении той традиции, которую творчество данного поэта развивает. Ибо, вольно или невольно, всякий поэт является прежде всего реакцией на ситуацию в литературе, предшествующую его появлению. Если сравнить изящную словесность с растущим деревом, то по появлению того или иного поэта можно судить о том, которым из его ветвей суждено разрастись и окрепнуть, которым — отсохнуть и отпасть.

В этом смысле, творчество Юрия Кублановского — событие чрезвычайно значительное, с последствиями которого русской поэзии придется считаться на протяжении многих десятилетий. Это так, не только потому что Кублановский сравнительно молод — к моменту, когда пишутся эти строки, ему 35 лет — но потому что сделанного им за последнее десятилетие вполне достаточно, чтобы оценить, какой крепости оказалась ветвь русского сентиментализма, пущенная в рост Батюшковым.

Опасность присущего поэтике сентиментализма преобладания лирического начала над дидактическим (т.е. смысловым) была замечена еще Баратынским. Сильно упрощая историю

русской поэзии на протяжении последовавших 150 лет, можно, тем не менее, заметить, что читатель ее постоянно имел дело со стилистическим маятником, раскачивающимся между пластичностью и содержательностью. Упрощая же, можно добавить, что две наиболее удачные попытки привести оба эти элемента в состояние равновесия, так сказать, сократить шаг маятника, были осуществлены «гармонической школой» и акмеистами. В обоих случаях равновесие это длилось недолго. От гармонической школы русский стих откатнулся к поэзии разночинцев и — оттуда — к Фету и дальше к символистам. Что касается акмеизма, от него маятник этот качнулся, не без помощи государства, в сторону поп-футуризма.

Раскачивается он и по сей день, ударяясь то в плотную стенку доморощенного авангарда, то о не менее плотную толпу бледнолицых стилизаторов «серебряного века». Заслуга Кублановского, прежде всего, в его замечательной способности совмещения лирики и дидактики в знаке равенства, постоянно проставляемом его строчками между двумя этими началами. Это поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина. Точнее, стихи его не поддаются ни тематической, ни жанровой классификации. Ход мысли в них всегда предопределен тональностью; о чем бы ни шла речь, читатель имеет дело прежде всего с событием сугубо лирическим.

Его техническая оснащенность изумительна, даже избыточна. Кублановский обладает, пожалуй, самым насыщенным словарем после Пастернака. Одним из его наиболее излюбленных средств является разностопный стих, который под его пером обретает характер эха, доносящего до нашего слуха через полтора столетия самую высокую, самую чистую ноту, когда бы то ни было взятую в русской поэзии. Это, однако, отнюдь не стилизация: Кублановский просто-напросто лучше, чем кто-либо, понял, что наиболее эффективным способом стихосложения сегодня оказывается сочетание поэтики сентиментализма и современного содержания. Эффект от столкнове-

ния *этих* средств и *этого* содержания превосходит любые достижения модернизма, особенно отечественного.

Превосходство это, впрочем, не только формальное: оно этическое. Средства, употребляемые Кублановским, не маска, не способ самозащиты: ровно наоборот, они обнажают качество содержания. Пользующийся данными средствами не может спрятаться в недоговоренность, в непонятность, в герметизм. Он, перефразируя Ахматову, должен быть ясен современнику, должен быть весь «настежь распахнут». То, что он говорит, обязано, благодаря наследственному достоинству формы, обладать смыслом и, более того, смысл этот превосходить качеством. Поэзия — искусство безнадежно семантическое, и предыдущая литература устанавливает иерархию ценностей. Поэт, пользующийся средствами более или менее классическими, судим, таким образом, по шкале ценностей, установленной не им самим.

Есть нечто вызывающее уважение в поведении литератора, сознательно ставящего себя в подобное положение. Выдерживает ли Кублановский сравнение со своими великими предшественниками? Прочтя этот сборник, я думаю, читатель ответит утвердительно. Выдерживает; и с ними, и, тем более, со своими современниками, и не столько за счет глубины его мысли и характера его изобразительных средств, сколько благодаря значительной степени духовной ясности, свойственной этому поэту. Кублановский, совершенно очевидно, поэт религиозный — на данном этапе его творчества, по крайней мере. Но именно мерой вкуса в трактовке чисто духовного материала Кублановский столь выгодно отличается от большинства своих современников, поголовно страдающих, мягко говоря, комплексом неопита, комплексом внезапно обретенной полноценности. Вера лирического героя Кублановского — вера унаследованная, а не вдруг обретенная; она — в порядке вещей, а не личное достижение, по поводу которого достигший ее ежеминутно впадает в экстаз, распускает сопли или озирается с чувством безграничного превосходства над окружающими.

Кублановскому абсолютно несвойственно столь типичное для словесности современных неофитов обращение к Всемогущему на «ты», как бы предполагающее существование взаимной переписки с Создателем. Несвойственно же это данному поэту, скорее всего, потому что именно литература является воспитателем чувств, а не наоборот. Вкус, иными словами, источник — если не синоним — нравственности; нравственность сама по себе гарантией вкуса не служит. Лирический герой Кублановского, прежде всего, продукт эстетического опыта русской литературы, и он свободен от религиозного нарциссизма. От чего он не свободен — это от ощущения чуда дарованного ему существования, воспевая частности которого, он более свидетельствует о Дарителе, нежели любое кадило.

Стихотворение, в конечном счете, приводится в действие тем же самым механизмом, что и молитва. Тождественностью этого механизма, скорее всего, и объясняется известное интонационное однообразие многих стихотворений Кублановского. В зависимости от читательского опыта, это качество может приветствоваться как свидетельство верности автора себе или раздражать своей предсказуемостью. У Кублановского немало недостатков: он велеречив, рифмы его не слишком изобретательны, стиху зачастую нехватает нервности, лирическому герою — того отвращения к себе, без которого он не слишком убедителен. Но звук его — чист, и это позволяет не обращать внимания на длинноты, ритмические и сюжетные банальности, на чересчур иногда педалируемую набожность. Все эти вещи — тематика и средства, удачные или не очень, преимущества или недостатки — все они лишь слуги звука, его составные элементы. Сумма их, повторяю, чиста.

У поэта есть только один долг перед обществом: писать хорошо. Собственно, это долг не столько перед обществом, сколько по отношению к языку. Поэт, долг этот выполняющий, языком никогда оставлен не будет. С обществом дела обстоят несколько сложнее, но и тут Кублановскому не о чем

особенно беспокоиться: без читателя он не останется. Ни один народ не заслуживает своей литературы, и русские не исключение. Но пока человек не отказался от дара речи в пользу жестикуляции или мычания, обществу суждено, независимо от тенденций в нем существующих или ему навязываемых, обращаться к поэзии — не только самоосознания ради, но поскольку она — высший предел речи, т.е., биологическая цель человека как вида.

Отчасти благодаря качеству своих стихотворений и отчасти потому, что людей, говорящих по-русски, не убавляется, Кублановскому суждена аудитория бóльшая, чем его предшественникам и многим его современникам. С его появлением русский поэтический ландшафт обогатился значительно: судьба не без умысла поместила этого поэта между Клюевым и Кюхельбекером. Стихотворениям, собранным в эту книгу, суждена жизнь не менее долгая, чем соседям их автора по алфавиту.

Содержание

Памяти Москвы

«Мне снилось золото Великого Ивана...»	9
В осень	10
В Абрамцеве	13
Тени	14
Твои глаза уже слепы... ..	15
Лесник	16
Сквозь вьюгу. Отрывки	18
Амур	19
Архангельское	20
«Когда на ролике античном...»	21
Час пик	22
Манеж	23
«О бедность! затвердил я наконец...»	25
Окраина	27
Башмачок	30
Бумеранг	31
«Прошлое — явь, грядущее — явь...»	32
Полдень	33
Суханово	35
«Подумать, сколько было вложено...»	37
Мастер и Маргарита. Триптих	38
Перекресток	40
«Кто пробовал силу и волю...»	41
Встреча	42
Поэт	43
«Второй Зачатьевский... Тумана пелена...»	44
Утро	45
В мае	46
«Для московских ребят заготовлена властью присяга...»	48
В дождь. На Арбате	49
Шатура — 72	51

Октябрь — 74	53
Элегия	54
На Донском	55
«В залепленном окне серебряно-седое...»	56
Вариация. На закате	57
Возвращение	58
Сизарь	59
В марте 1965 года...	60
По магазинам рысью...	61
13 декабря, утром...	62
Портрет	63
На закате...	64
Отрывки из письма к V.	65
Диптих («Схизма нашей любви и нежна и сурова...»)	66
Стрешнево — 69	68
В электричке. Киевская дорога	69
Благовест	70
«Где тополиный пух кочует...»	71
Николай	72
«Розовое пламя иван-чая...»	75
«...С ночей, где комары и гниды...»	76
«Черный лебедь сухо шуршит крылом...»	77
«...Я один пройду меж кусковских пихт...».....	78
Старый Скатертный	79
Фили	81
«Каждый год сложнее с зимовками...»	82
«Жизнь такая — на птичьих правах...»	83
В апреле	84
«Комарика в мае...»	86
В Апрелевке	87
Сумерки — 1980	88
В морозный день	89
Утром, вечером, ночью...	90

Путешествие

Апрель — 79	95
Памяти Джона Китса	96
В мае	98
Венчание	99
«В диковину милой чужого касаться плеча...»	100
Путешествие	101

На Оке. Продолжение	103
Ландыш	104
«Месяц бледен и Врубель ревнив...»	105
Земное время	106
Велегож	108
Киммерийская сага	109
Пушкин и Воронцовы. Поэма	111
Крым. По памяти	114
Пилад и Электра. Памяти детства	115
Лиман. Шесть стихотворений	117
Отзвук	124
«...То ли панна с прозрачным лицом...»	125
«Малороссии нежная статья...»	126
Посвящается Лермонтову	127
Феодосия	128
Ящерка	129
В пустыне	130
На границе. Диптих	131
Фирюза	134
Девять стихотворений	135
«Воли голубичный свет...»	135
«...Как осьминожьих пней...»	136
«Это Чурлёнис пел...»	137
«В густо-морской листве...»	138
«То прочно, то хрупко...»	139
«Как лают дворняги...»	140
«Вихростое сено...»	141
«Нашу встречу стоит торопить?...»	142
«От Воздвиженья — до Покрова...»	143
«На холмах, покрытых снегом...»	144
Сеновальная бабочка	145
Скоро	146
«Все дрожишь — как бы выжить...»	148
Холмы Хохландии лесистые...	149
«Под серым холмом...»	151
Ужгород	153
Пироскаф	155
У Эвксинского понта	157
«Уйду ли за волну в слабеющую даль...»	163
«Мне страшно от мысли...»	164

Памяти Петрограда

Этюд	167
На казнь майора Глебова	168
В Петрограде	170
Восьмистишия	173
На отъезд друга. Шесть стихотворений	175
Петербургская элегия	181
«Все так странно в том мире, где ты!..»	182
«Тебе, чья стопа на земле невесома...».....	184
На море среди солнечных дюн... ..	185
Воробьиная ночь	186
Скажи, свидригайловский скворка унылый... ..	189
«Глазницы Козлова-слепца...»	190
Стихи о русских поэтах	191
Этюд №2	200
«В кренящейся башне ночные раденья...»	201
Восьмистишия в стиле retro	202
«Мы опять с тобой вместе в норе...»	204
Там за островами... ..	205
Картинки с выставки	208
Письмо («Бесстрашно надорвав простое письмецо...»)	213
Диптих («Снова снится конверт с долгожданным письмом...») ..	217
Перед Смольным. Литературная композиция	219
Всплеск	222
«Целый день по стеклу барабанили капли, струились...»	224

С последним Солнцем

«Сквознячок зарябил...»	227
Колыбельная	228
Зимняя сказка	229
«Добровольческий спелый...»	230
г. Тутаев (бывш. Романов-Борисоглебск), на Волге	232
«Молочко осиное...»	235
«У волжского домика старая ива стоит...»	236
Цирк	237
Бобик	238
Пейзаж	239
Спас	240
Август 1959 года	241
Посвящается Волге	242

В Обломовке	243
«Белогривый июль над взволнованной Волгой...»	245
«Крыжовника кленовые листочки...»	246
«Бабье лето за оградой...»	247
Заповедник	248
Родная речь	249
«Помнишь — гусениц чуткий пушок...»	252
«Этого домика нет. Только сад поредевший напротив...»	253
«По вишневым углам залоснился киот...»	255
«В том краю, где моря Белого...»	256
Диптих («По настилу из мягкого мха...»)	257
Св.-Троицкий скит на острове Анзер. Соловки	258
Татарник	260
Плещеево озеро...	261
Коньки	262
Весна осенняя	263
Мартемьяново	266
Вечер в Вологде	267
Зори	268
«Соловки от крови заржавели...»	270
В июне Четыре стихотворения	271
Кукушка	274
Перед грозой...	275
Чаепитие в июле	277
«Душный ветер на полустанках...»	279
Памяти Константина Батюшкова	280
Вальдшнеп	284
Два стихотворения («Позлащенные соты кирилловской липы...»)	285
Берлога	286
«Я часто улетаю...»	287
Вечер	289
13 августа	292
«Россия, ты моя!...»	293
Каргополь	294
Памяти Николая Клюева (†1937)	295
Охота	297
«Заворожённый денек погож...»	298
Осень 1978 года	299
Ожидание	311
«Крупичи пигмента с сусальным вкраплением с фрески...»	312
Памяти Беломорья	313
Письмо («Если вырвусь я из железных лап...»)	314

«Словно полукафтаные опричника...»	315
«Жемчужная отмель в спиральках червей...»	316
«За отбросами моря вонючими...»	317
Колежемская сага	318
«Соловецкие волны, на вас не ступлю никогда...»	319
Сверчок	320
В детстве	321
«... Не Новгород купец, не древний воин Псков...»	324
«Дай мне еще раз взглянуть на тебя...»	325
«Мы будем с тобой перед Богом чисты...»	326
«Настигает в единственный...»	327

Иордань

«Где большие наволочки метками...»	331
«Зимой в России делать нечего...»	332
«Сегодня стёкла в снежном хворосте...»	334
«Еще не все ночные полосы...»	335
«От тишины геройской горестной...»	336
«— но все в бреду придется в царскую...»	337
«... На правом ли, на левом клиросе...»	338
«То реквиемом, то Осанной...»	339
«Потемневшая пижма, осенними сроками...»	341
«Ветер бьет в лицо, что в стену...»	342

Песни венского карантина

Памяти Ходасевича	345
«В ветхой трубке дышит невозбранно...»	346
«Рыжий сеттер меж бурых стволов...»	347
К Германии	348
По мотивам Висконти	350
«Сизые тени пихт...»	352
«Неужели однажды одна...»	353
«В гордости, слабости, страхе и пламени...»	354
Твое молчание...	356
«Я не понимаю — о чем...»	359
«Из тьмы тутаевской, египетского плена...»	360

Иосиф Бродский. Послесловие к книге	361
---	-----

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 25 MARS 1983
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 8199

